

Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук
Институт социологии

**ПРОШЛОЕ, КОТОРОЕ НЕ УХОДИТ:
КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА,
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
И ИДЕНТИЧНОСТЬ**

МОСКВА
2023

УДК 316.6+316.7
ББК 60.5
П84

Утверждено к печати Учёным советом ФНИСЦ РАН

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
грант № 19-511-60005*

Рецензенты:

д-р полит. наук, проф. А. В. Брега
(Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации)
д-р филос. наук, проф. А. Н. Чумаков
(МГУ им. М. В. Ломоносова)

Авторский коллектив:

О. М. Михайленок, А. В. Митрофанова, О. А. Богатова,
О. В. Рвачева, С. В. Рязанова, Дж. Кочуков, А. А. Суворова,
А. И. Богомолов, М. М. Рудковская, С. В. Артемова, М. Дейст,
М. Фуаре, А. М. Понамарева, С. В. Понамарев

П84 **Прошлое, которое не уходит: культурная травма, историческая память и идентичность** : [монография] / О. М. Михайленок, А. В. Митрофанова, О. А. Богатова [и др.] ; отв. ред. А. В. Митрофанова ; ФНИСЦ РАН. – М. : ФНИСЦ РАН, 2023. – 216 с.
ISBN 978-5-89697-410-9
DOI 10.19181/monogr.978-5-89697-4109.2023
EDN TRQAHO

Монография подводит итоги исследования механизмов воздействия травмирующих событий прошлого на жизнь современного общества как в целом, так и на уровне отдельных групп – в частности, влияния коллективной исторической травмы на групповую идентичность и её политическое выражение. В центре внимания находится проявление следов социальной и культурной травмы прошлых времён в современных ситуациях, роль травмы в групповой идентичности и возможность её использования для подавления внутригрупповых противоречий.

Книга предназначена для научных работников, преподавателей вузов, студентов и аспирантов, специализирующихся в области политологии, истории, исследований социальной памяти, социологии и смежных дисциплин.

УДК 316.6+316.7
ББК 60.5

ISBN 978-5-89697-410-9

© Авторы, текст, 2023
© ФНИСЦ РАН, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
РАЗДЕЛ I. ПОСТСОВЕТСКИЕ МОДЕЛИ РАБОТЫ С ТРУДНЫМ ПРОШЛЫМ	15
<i>Глава 1.</i> «Белые пятна» в памяти российских поколений	15
<i>Глава 2.</i> Модели детравматизации в социальной памяти жертв политических репрессий	22
<i>Глава 3.</i> Память о Гражданской войне в казачьем возрождении юга России в конце XX – начале XXI века	48
РАЗДЕЛ II. СОВЕТСКИЙ ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРАВМЫ	64
<i>Глава 4.</i> Культурная травма глазами верующих: преодоление травматического синдрома	64
<i>Глава 5.</i> Александр Лобанов: рецепция политического в советском аутсайдерском искусстве	81
РАЗДЕЛ III. КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ	101
<i>Глава 6.</i> Революция и Гражданская война в памяти русских военных эмигрантов во Франции в 1920–1930-е годы: формирование и трансформации нарратива	101
<i>Глава 7.</i> Эхо коммеморативных практик российского послереволюционного литературного зарубежья в России и за её пределами	114
РАЗДЕЛ IV. ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ ДЕТРАВМАТИЗАЦИИ	133
<i>Глава 8.</i> Всё ещё не полностью люди: субъективный опыт ощущения дегуманизации в Южной Африке после апартеида	133
<i>Глава 9.</i> Фактор исторической памяти о Второй мировой войне во внешней политике КНР	150
Список литературы	183
Сведения об авторах	214

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия возрастает интерес учёных к различным вариантам травматической памяти в жизни не только индивидов и групп, которые пережили травму непосредственно, но и последующих поколений¹. Очевидно, что травматический опыт прошлого может заново переживаться в настоящем, постоянно возвращаясь посредством некоторых форм коллективного поведения и оказывая воздействие на текущую ситуацию. Основные дискуссии ведутся о том, каким образом следы коллективных травм прошлого проявляются в общественно-политическом настоящем, в частности, о возможности превращения травмы в главную составляющую идентичности группы и даже в условие её политического успеха². Концепцию постпамяти М. Хирш³ можно применять лишь ограниченно, так как новые поколения продолжают зависеть от эмоционального наследия травмы прошлого. Это воздействие не осознаётся, поскольку последствия травмы закреплены не в сознании, а на других уровнях личности.

Выступая перед Федеральным собранием в декабре 2016 года, накануне столетия Октябрьской революции, Президент РФ

¹ Российское общество и вызовы времени. Книга пятая / М. К. Горшков [и др.]; под ред. М. К. Горшкова, В. В. Петухова. М. : Весь Мир, 2017. С. 259–261.

² *Weingarten K.* Witnessing the Effects of Political Violence in Families: Mechanisms of Intergenerational Transmission // *Journal of Marital and Family Therapy.* 2004. Vol. 30, № 1. P. 45–59; *Volkan V.* Transgenerational Transmissions and Chosen Traumas: An Aspect of Large-Group Identity // *Group Analysis.* 2001. Vol. 34, № 1. P. 79–97; *Volkan V.* Killing in the Name of Identity: A Study of Bloody Conflicts. Charlottesville, VA: Pitchstone Publishing, 2006. 307 p.; *De Gloma T.* Expanding trauma through space and time: Mapping the rhetorical strategies of trauma carrier groups // *Social Psychology Quarterly.* 2009. № 72. P. 105–122.

³ *Хирш М.* Поколение постпамяти. Письмо и визуальная культура после Холокоста. М. : Новое издательство, 2021. 428 с.

В. В. Путин подчеркнул необходимость объективного, честного и глубокого анализа событий прошлого⁴. Представленное монографическое исследование направлено на выявление того, каким образом травма и память о ней передаются следующим поколениям и как прошлое проявляет себя в обществе в целом и в больших социальных группах. Хотя в России и в других странах ведётся обширная работа по фиксации воспоминаний жертв разного рода репрессивных практик, существует потребность также в научной и практической работе с понятием «наследия» прошлого и его воздействия на последующие поколения. Имеющиеся исследования сконцентрированы, в основном, на индивидуумах или отдельных семьях, но не на групповых процессах. За рамками остаётся общественно-политический аспект проблемы преодоления травмы – проявление следов политического насилия прошлых времён в современных ситуациях, в жизни групп как бывших жертв, так и бывших преступников (а также наблюдателей процессов массового насилия). В результате без внимания остаётся вопрос о роли коллективной травмы в групповой идентичности и возможность использования травмы для подавления внутригрупповых противоречий. В настоящее время в России существуют, фактически, отдельные для разных групп «культуры памяти», которые иногда вызывают реакции отторжения у других групп, вплоть до «борьбы памятей»⁵. Такая ситуация не способствует формированию общественно-политического согласия и укреплению российской нации⁶.

⁴ Послание Президента Федеральному собранию // Президент России : [сайт]. 1 декабря 2016. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/53379> (дата обращения: 03.11.2022).

⁵ *Laruelle M.* Negotiating History: Memory Wars in the Near Abroad and Pro-Kremlin Youth Movements // *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*. 2011. Vol. 19, № 3. P. 233–252; *Bogumil Z.* Sacred or Secular? «Memorial», the Russian Orthodox Church, and the Contested Commemoration of Soviet Repressions / *Z. Bogumil, D. Moran, E. Harrowell* // *Europe-Asia Studies*. 2015. Vol. 67, № 9. P. 1416–1444; *Bogumil Z.* Islands of One Archipelago: Narratives about the Solovetskie Islands and the Memory of Soviet Repressions / *Z. Bogumil, T. Voronina* // *Laboratorium*. 2018. Vol. 10, № 2. P. 104–121.

⁶ См.: *Михайленок О. М.* Общественно-политическое согласие в контексте демократической консолидации / *О. М. Михайленок* // *Вестник Института социологии*. 2015. № 3 (14). С. 74–91.

В имеющихся исследованиях преобладает анализ Холокоста и нескольких других известных коллективных травм. Не рассматривается российский опыт коллективного переживания массовых репрессий (не только политических репрессий как таковых, но также депортации народов, раскулачивания и расказачивания, преследования верующих и др.). Также российский опыт передачи исторической памяти ранее не сравнивался с опытом других стран, более или менее успешно проходящих процесс примирения и преодоления коллективной травмы. В данной монографии процессы расчеловечивания целых групп населения в России на протяжении XX века рассматриваются в максимально широком ключе: включая экстремальные формы расчеловечивания вплоть до уничтожения политических и идеологических противников, и так называемые «повседневные» формы унижения и дегуманизации больших групп людей.

В качестве примеров используется, в первую очередь, система насильственного труда в исправительных лагерях, характерная для периода 1920–1950-х годов, преследования верующих различных религий на всём протяжении советского периода (от физического уничтожения до «мягких» форм преследования), депортации и другие преследования различных этнических групп, для которых коллективная травма стала основой идентичности. В текущей научной литературе коллективная память этих групп практически не исследована. Также малоисследованной остаётся тема травмы, полученной российским обществом в ходе экономических реформ и распада единой страны в 90-е годы XX века⁷.

За рамками остаются механизмы преодоления коллективных травм и негативной памяти, а также возможности этих механизмов для общенационального примирения и формирования единой нации из разрозненных социальных групп, переживающих собственные исторические травмы. Данная

⁷ Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях россиян: опыт социологического анализа / М. К. Горшков [и др.] ; отв. ред. М. К. Горшков, В. В. Петухов. М. : Весь Мир, 2018. С. 111–112; *Тощенко Ж. Т.* Общество травмы: между эволюцией и революцией. М. : Весь Мир, 2020. 352 с.

монография предполагает не только анализ памяти о страданиях, но и изучение примеров восстановления человеческого достоинства — вопреки расчеловечивающему опыту прошлого. Участие в исследовании специалистов из Южной Африки позволило провести уникальное сравнение подходов к темам исторической памяти и коллективной травмы, развивающихся в России и ЮАР, и развития транснационального подхода к дальнейшему изучению процессов установления справедливости, примирения и преодоления последствий расчеловечивающей политики⁸.

Проблематика передачи коллективной памяти от поколения, непосредственно пережившего травмирующий опыт, — детям и внукам давно осознаётся как важная для понимания механизмов исцеления культурной травмы. Данная тема первоначально рассматривалась в рамках психоаналитического подхода⁹. В то же время международное признание постепенно завоёвывает комбинированный или полностью конструктивистский подход к теме¹⁰. Произошла смена

⁸ Ряд глав монографии подготовлен в рамках гранта РФФИ и Национального исследовательского фонда Южно-Африканской Республики № 19-511-60005 «Наследие расчеловечивания: транснациональная перспектива».

⁹ *Barocas H. A. Manifestations of Concentration Camp Effects on the Second Generation / H. A. Barocas, C. B. Barocas // The American Journal of Psychiatry. 1973. Vol. 130, № 7. P. 820–821; Generations of the Holocaust / Ed. by M. S. Bergmann, M. E. Jucovy. New York : Columbia University Press, 1982. 338 p.; Sigal J. J. Trauma and Rebirth: Intergenerational Effects of the Holocaust / J. J. Sigal, M. Weinfeld. New York : Praeger, 1989. 204 p.; Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma and the Possibility of History / C. Caruth, Y. French // Yale French Studies. 1991. № 79. P. 181–192.; Hass A. In the Shadow of the Holocaust: The Second Generation. Cambridge and New York : Cambridge University Press, 1996. 178 p.; Felsen I. Transgenerational Transmission of Effects of the Holocaust: The North American Research Perspective // International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma / Edited by Yael Danieli. New York, London : Plenum Press, 1998. P. 43–68.; Schwab G. Haunting Legacies: Violent Histories and Transgenerational Trauma. New York : Columbia University Press, 2010. 256 p.; Lost in Transmission: Studies of Trauma Across Generations / Ed. M. G. Fromm. London : Karnac, 2012.*

¹⁰ *Victims and perpetrators, 1933–1945: (re)presenting the past in post-unification culture / Edited by: L. Cohen-Pfister, D. Wienroeder-Skinner. Berlin : Walter de Gruyter, cop., 2006. 371 p.; Травма: пункты : сборник статей /*

исследовательского фокуса, связанная с признанием, что крупномасштабные травмы происходят в комплексных социокультурных контекстах, включающих социальное, культурное, политическое, экономическое и психологическое измерения. Исследование межпоколенческих травм начинает выходить за рамки личностного подхода.

Теоретической основой монографии является конструктивистская концепция культурной травмы (Р. Айерман, П. Штомпка, Дж. Александер), подчёркивающая различие между травмирующей (травматогенной) ситуацией и социальным конструированием травмы как репрезентации этой ситуации в индивидуальном или групповом сознании¹¹. Культурная травма отличается от травмирующей ситуации тем, что обладает значением (смыслом), который сохраняет важность для прошлого, настоящего и будущего пострадавшей группы. Переход от травматогенной ситуации к травме требует значительного времени и поэтому часто является задачей следующих поколений, непосредственно не испытавших травматогенного события.

Центральное место в научной литературе сейчас занимает важность «свидетельства» и процесса говорения о травме

Под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М. : Новое литературное обозрение, 2009. 936 с.; *Аникин Д. А.* «Травма» памяти: стратегии конструирования в современном политическом дискурсе // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2014. Т. 2, № 1. С. 220–229; *Рюзен Й.* Кризис, травма и идентичность // «Цепь времён»: Проблемы исторического сознания. М. : ИВИ РАН, 2005. С. 38–62; *Аникин Д. А.* Травмы культурной памяти: концептуальный анализ и методологические основания исследования / Д. А. Аникин, О. В. Головашина // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 425. С. 78–8; *Markert F.* The Chinese Cultural Revolution: a traumatic experience and its intergenerational transmission // *Landscapes of the Chinese Soul: The Enduring Presence of the Cultural Revolution* / Edited by Tomas Plaenkers. London : Routledge, 2019. P. 143–164; *Топология травмы: Индивидуальный травматический опыт и опыт исторических катастроф : коллективная монография* / Н. А. Артеменко, А. И. Бродский, К. А. Капельчук [и др.] ; под ред. Н. А. Артеменко. СПб. : Реноме, 2020. 248 с.

¹¹ *Александер Д.* Культурная травма и коллективная идентичность / Д. Александер, Д. Ю. Куракин // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 5–40.

после того, как было пережито массовое политическое насилие. Свидетельство считается одним из наилучших вариантов реакции на историческую травму, так как автоматически перемещает трагические события в прошлое¹². Ключевым элементом конструирования культурной травмы является, в рамках данного подхода, создание пострадавшей группой «мастер-нарратива» (связного повествования) о травмирующем событии. Следуя сложившейся научной традиции, мы отличаем нарративы (индивидуальные, семейные, групповые) от социального дискурса, который отражает восприятие событий прошлого социумом и может воздействовать на отдельные нарративы (например, включать в нарратив события, которые не были лично пережиты индивидом или группой).

В России научная литература по тематике монографии пока является недостаточной — имеются в виду не исторические исследования событий прошлого, а изучение воздействия памяти прошлого на настоящее и механизмов передачи поколенческого опыта (исторические исследования как раз достаточно обширны). Более или менее исследованы частные «культуры памяти», отражающие опыт отдельных групп как по сохранению памяти о травмирующем опыте, так и по её преодолению. Так, существует литература, посвящённая памяти о политических репрессиях советского периода, о культуре памяти в Русской православной церкви и вообще среди верующих, и т. д. В самом начале находится исследование таких тем, как межпоколенческая травма, современные рефлексии прошлого в литературе и искусстве, роль идеологии в культуре памяти¹³.

¹² *Hunt N. Memory and Meaning: Individual and Social Aspects of Memory Narratives / N. Hunt, S. McHale // Journal of Loss and Trauma. 2007. Vol. 13, № 1. P. 42–58*

¹³ *Merridale C. Soviet Memories: Patriotism and Trauma // Memory: Histories, Theories, Debates / Eds. S. Radstone and B. Schwarz. New York : Fordham University Press, 2010. P. 376–389; Эткинд А. М. Кривое горе: память о непогребённых / А. М. Эткинд ; пер. с англ. В. Макарова. М. : Новое литературное обозрение, 2018. 328 с.; Руткевич А. М. Психоанализ, история, травмированная «память» // Феномен прошлого / Ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. М. : ГУ ВШЭ, 2005. С. 221–250.*

Концептуализация политических репрессий в СССР как серии травматогенных событий достаточно проблематична, так как репрессии являлись не вспышкой насилия против конкретной группы, а долгосрочным процессом подавления различных групп и различными методами (в том числе ненасильственными). Тем не менее, существование большего числа индивидов и групп было резко изменено, по формулировке Дж. Александра, «непредвиденным и неблагоприятным образом»¹⁴, что позволяет обозначить происходившие события как травматогенные. Авторский коллектив опирается на существующую литературу, в которой репрессии рассмотрены в терминах социальной и культурной травмы, в том числе межпоколенческой¹⁵.

Первые главы книги ставят проблемы работы с травмирующей памятью в постсоветском обществе. А. В. Митрофанова отмечает трудности с сохранением и передачей российской семейной памяти, выраженные в форме отказа говорить о травмирующем событии, которое заменяется либо некими

¹⁴ *Alexander J.* Toward a Theory of Cultural Trauma // *Cultural Trauma and Collective Identity* / J. Alexander, C. Jeffrey, Ron Eyerman [et al.]. Berkeley : University of California Press, 2004. P. 2.

¹⁵ *Coleman P. G.* Identity Loss and Recovery in the Life Stories of Soviet World War II Veterans / P. G. Coleman, A. Podolskij // *The Gerontologist*. 2007. Vol. 47, № 1. P. 52–60; *Gheith J.* Gulag Voices: Oral Histories of Soviet Incarceration and Exile / J. Gheith, K. Jolluck. London : Palgrave Macmillan, 2011. 256 p.; *Dobrenko E.* Introduction. Introduction. Between History and the Past: The Soviet Legacy as a Traumatic Object of Contemporary Russian Culture / E. Dobrenko, A. Shcherbenok // *Slavonica*. 2011. Vol. 17, № 2. P. 77–84; *Kelly C.* «The Leningrad Affair»: Remembering the «Communist Alternative» in the Second Capital // *Slavonica*. 2011. Vol. 17, № 2. P. 103–122; *Sarkisova O.* «They came, shot everyone, and that's the end of it»: Local Memory, Amateur Photography, and the Legacy of State Violence in Novochoerkassk / O. Sarkisova, O. Shevchenko // *Slavonica*. 2011. Vol. 17, № 2. P. 85–102; *Wakamiya L. R.* Post-Soviet Contexts and Trauma Studies // *Slavonica*. 2011. Vol. 17, № 2. P. 134–144; *Тумов К. В.* Доклад Н. С. Хрущева «О культуре личности и его последствиях» как политический контракт. URL: http://elis.pstu.ru/index.php?a=9&pod_id=31&pod3_id=130 (дата обращения: 03.04.2022); *Буллер А.* Простить? О феномене исторического непростения и непреклонной памяти / А. Буллер, А. А. Линченко // *Вопросы философии*. 2015. № 11. С. 50–59; *Колдушко А. А.* «Травма неволи» как вид социокультурной травмы в годы Большого Террора (1930-е годы) // *Технологос*. 2019. № 3. С. 47–60.

дополнительными обстоятельствами, либо «объективными фактами», а иногда переносится в далёкое прошлое. Травматизирующая ситуация воспринимается потомками как бессмысленная, объединяющий нарратив отсутствует. О. А. Богатова также демонстрирует лакуны и «белые пятна» в коллективной транспоколенческой памяти о политических репрессиях, подчёркивая, что возвращение этой памяти не способствует формированию коллективной идентичности на основе травмирующего опыта. Автор связывает данный факт с отсутствием в советском обществе социальной сегрегации и тем, что «испорченная идентичность» не препятствовала социальной карьере. О. В. Рвачева рассматривает аналогичные проблемы на примере скрытого сохранения в 1970–1980-е годы памяти казачества о Гражданской войне. Она обращается также к альтернативной памяти красного казачества – единственной, которая официально сохранялась, в том числе в материальной форме. Возрождение коллективной памяти казаков рассмотрено на примерах новых практик как мемориализации, так и забвения, а также попыток примирения конфликтующих вариантов памяти.

Несколько глав предлагают разные варианты детравматизации, используемые специфическими группами в советский период, непосредственно в ходе репрессивных действий против них. С. В. Рязанова и Дж. Кочуков (ЮАР) пишут о преодолении травмирующего коллективного опыта членами евангельских церквей (пятидесятниками и баптистами) и об отсутствии у последних посттравматического стресса. Авторы указывают, что принадлежность к сплочённым сообществам и героический статус репрессированных дали возможность связать травмирующие события с религиозным спасением, что явилось условием выживания религиозной общины. Глава, написанная А. А. Суворовой, посвящена возможностям сохранения альтернативной памяти в толще доминирующей на примере творчества художника-аутсайдера Александра Лобанова. В главе показано, каким образом художник использует образы и смыслы, заимствованные в официальном советском дискурсе, для собственной социальной репрезентации.

Две главы монографии посвящены проблематике межпоколенческой передачи памяти о травмирующих событиях в среде русских эмигрантов первой волны. М. М. Рудковская и А. И. Богомолов рассматривают процессы сохранения и передачи профессиональной и корпоративной идентичности военных эмигрантов, которые связываются с сохранением идентичности данной группы. Авторы уделяют особое внимание материальному воплощению коллективной памяти – созданию домашних музеев, уходу за кладбищами. С. В. Артёмова в главе, посвящённой мемуаристике, обращается к формированию различных вариантов памяти и идентичности, объединяющих и разделяющих эмигрантское сообщество. Отмечая дискуссионный характер эмигрантских текстов, отражающих борьбу каждой группы за свою версию памяти, автор показывает продолжение дискуссий прошлого в современной России.

Две завершающие главы рассказывают о зарубежном опыте работы с коллективной памятью о травмирующих ситуациях. Авторы из ЮАР, М. Дейст и М. Фуаре, демонстрируют, что политика апартеида в Южной Африке, несмотря на декларированный переход к мультирасовому обществу, продолжает сохраняться в форме расовой самосегрегации и создания расово гомогенных пространств. А. М. и С. В. Понамаревы обращаются к опыту Китайской Народной Республики, рассматривая доминирующие исторические нарративы о Второй мировой войне. В главе показано, что историческая память является значимым измерением современных китайско-японских отношений, а также что историческая политика Китая связана с его возвращением в статус великой державы.

В монографии обосновано, что в российском обществе отсутствует запрос на нарративное проговаривание травмирующих событий посредством организации транзитивного правосудия в форме общественных слушаний по принципу «метакомиссии правды и примирения»¹⁶. По мнению боль-

¹⁶ Эттле Н. Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах. М. : Новое литературное обозрение, 2020. 576 с.; Публикуем доклад Вольного исторического общества «Какое прошлое нужно будущему России» // Комитет гражданских инициатив : [сайт]. 23 января 2017. URL: <https://komitetgi.ru/analytics/3076/98> (дата об-

шинства россиян, такая форма дискуссии вызовет взаимные обвинения и усилит раскол общества. Разрешение обозначившейся дилеммы (с одной стороны – необходимость мета-нарратива для осмысления травмы, с другой – невозможность его формирования) связано с тем, что создание вербального нарратива не может считаться универсальным способом репрезентации коллективной травмы. Транзитивные трибуналы могут приводить к инверсии ролей угнетенного и угнетателя, и к формированию замкнутого круга насилия. Достижение эмпатии к другим группам, а в конечном итоге – углубление общественной солидарности может происходить не через вербализацию травмы в виде конкурирующих нарративов, а посредством ненарративных практик, предполагающих воплощение памяти в материальных предметах (посредством творчества или сохранения памятных объектов) или в действиях (танцах, ритуалах).

Ненарративные практики изучаются в рамках постколониальной или «новой» эпистемологии, предполагающей, что традиционные методы фиксации памяти не приспособлены к передаче опыта определённых групп людей¹⁷. Новая эпистемология подвергает сомнению западное представление о необходимости вербального нарратива о травме, утверждая, что внутреннее переживание травматической памяти поддаётся невербальному выражению (через молчание, язык тела и т. д.). Новая эпистемология заявляет о кризисе репрезентативной парадигмы культурной травмы, особенно межпоколенческой, которая рассматривается как непроговариваемая и непредставимая. Девербализация позволяет преодолеть разобщённость

ращения: 03.04.2022); *Лёзина Е.* XX век. Проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы. М.: Новое литературное обозрение, 2021. 584 с.

¹⁷ *Спивак Г. Ч.* Могут ли угнетённые говорить? // Введение в гендерные исследования. Часть II. Хрестоматия. СПб.: Алетейя, 2001. С. 649–670; *Чакрабарти Д.* Провинциализируя Европу. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. 384 с.; *Бхаба Х.* Местонахождение культуры // Х. Бхаба; пер. Г. Гобзем // *Перекрёстки*. 2005. № 3–4. С. 161–192; *Миньоло В.* Оксидентализм, колониальность и подчинённая рациональность с префиксом «пост» // *Перекрёстки*. 2004. № 1–2. С. 161–197.

нарративов, которые не способны вызвать эмпатию в отношении травмированных групп.

В Южной Африке широко используется понятие «убунту», взятое из языков зулу и коса, для обозначения этики, построенной на осознании связи между каждым человеком и другими представителями сообщества. Ближайшим аналогом в русском языке является понятие «соборность» в том виде, в котором оно было сформулировано А. Хомяковым. Таким образом, опыт ЮАР – не только в аспекте транзитивного правосудия – предстаёт релевантным для разрешения российских проблем коллективной идентичности и преодоления тяжёлого наследия травмирующих событий прошлого. Представленная монография носит не только междисциплинарный, но и мультикультурный характер, несколько глав были представлены авторами на английском языке.

Монография подготовлена авторским коллективом в составе: О. М. Михайленок (введение, соvm. с А. В. Митрофановой), А. В. Митрофанова (введение, соvm. с О. М. Михайленком, гл. 1), О. А. Богатова (гл. 2), О. В. Рвачева (гл. 3), С. В. Рязанова (гл. 4, соvm. с Дж. Кочуковым), Дж. Кочуков (гл. 4, соvm. с С. В. Рязановой), А. А. Суворова (гл. 5), А. И. Богомолов (гл. 6, соvm. с М. М. Рудковской), М. М. Рудковская (гл. 6, соvm. с А. И. Богомоловым), С. В. Артемова (гл. 7), М. Дейст (гл. 8, соvm. с М. Фуаре), М. Фуаре (гл. 8, соvm. с М. Дейст), А. М. Понамарева (гл. 9, соvm. с С. В. Понамаревым), С. В. Понамарев (гл. 9, соvm. с А. М. Понамаревой).

РАЗДЕЛ I.

Постсоветские модели работы с трудным прошлым

ГЛАВА 1.

«Белые пятна» в памяти российских поколений

Конструктивистская концепция культурной травмы, сформулированная в начале 2000-х годов сначала Р. Айерманом, а потом Дж. Александером, П. Штомпкой и др.¹⁸, построена на утверждении о необходимости временной дистанции между травматогенной или травмирующей ситуацией, которую непосредственно переживает индивид или коллектив, и культурным конструированием «травмы» как социальной репрезентации этой ситуации. Травматогенная ситуация сама по себе не имеет смысла, но культурная травма обладает смыслом, который связывает воедино прошлое, настоящее и будущее пострадавшей группы. Важно, что конструирование культурной травмы может осуществляться потомками пострадавших, непосредственно не переживавшими травматогенное событие (уже классический пример афроамериканцев, изученный Р. Айерманом – очевидно, что культурная травма рабства конструировалась не самими рабами, а их отдалёнными потомками). Хотя слово «травма» несёт негативные ассоциации, формирование культурной травмы – положительный, конструктивный процесс. «Хорошо сделанная» травма консолидирует пострадавшую группу, собирает её из осколков,

¹⁸ *Eyerman R. Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American identity. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 314 p.; Sztompka P. The Trauma of Social Change: A Case of Postcommunist Societies // Cultural Trauma and Collective Identity / Jeffrey C. Alexander, Ron Eyerman, Bernard Giesen, Neil J. Smelser, Piotr Sztompka. Berkeley : University of California Press, 2004. P. 155–195; Eyerman R. Narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering / R. Eyerman, J. Alexander, E. Breese. Boulder, Colo : Routledge, 2011. 336 p.; Alexander J. Trauma: A Social Theory. Cambridge : Polity Press, 2012. 226 p.*

даже может создать для группы новую идентичность. Конструирование культурной травмы происходит в форме создания на базе личных, семейных и групповых воспоминаний о травмирующем событии объяснительного нарратива (связного повествования), или мастер-нарратива (по аналогии с «мастер-ключом», который открывает все двери, мастер-нарратив «открывает» все индивидуальные варианты переживания травматогенных событий). Теория культурной травмы подчёркивает, что передача потомкам воспоминаний как таковых ещё не образует «травму», так как воспоминания должны быть предварительно встроены в осмысленный нарратив.

Политические репрессии в СССР, осуществлявшиеся на протяжении десятилетий, можно рассматривать как серию травматогенных событий. Сложность заключается в том, что репрессии не были единовременным актом насилия против чётко определённой группы; они представляли собой длительный процесс подавления разных социальных групп разнообразными способами (от физического уничтожения до практики публичного унижения). Тем не менее, политические репрессии в СССР соответствуют определению травматогенного события, данного Р. Александером, как резкого и неожиданного изменения жизни людей в худшую сторону¹⁹.

Основой данной главы послужила серия глубинных интервью с потомками пострадавших от политических репрессий, направленных на выяснение чувств и мыслей респондентов по поводу фактов страдания, пережитого их предками. Интервьюирование методом глубинного полуструктурированного интервью производилось в России в 2019–2020 годах и охватывало потомков репрессированных на протяжении четырёх поколений (от детей до праправнуков). Во всех случаях травмирующая ситуация имела место не ранее чем за сорок лет до момента интервьюирования. Далее при использовании цитат в скобках приводится возраст респондентов (возраст разных респондентов может совпадать) — указание возраста носит информирующую

¹⁹ *Alexander J.* Toward a Theory of Cultural Trauma // *Cultural Trauma and Collective Identity* / J. Alexander, C. Jeffrey, Ron Eyerman [et al.]. Berkeley : University of California Press, 2004. P. 2.

щий характер, так как анализ интервью осуществлялся без учёта возраста и пола респондентов. Были опрошены потомки представителей разных пострадавших групп: раскулаченных, депортированных, сосланных, арестованных, казнённых по разнообразным признакам (социальные, этнические, политические и другие группы). Подбор респондентов осуществлялся методом «снежного кома». Исследование носило качественный характер и не предполагало применения количественных методов.

Предсказуемым результатом интервьюирования было подтверждение ранее известным исследователям факта, что память потомков о пережитых предками травматогенных событиях носит фрагментарный характер и содержит много «белых пятен». Разговоры на эту тему не поощрялись старшим поколением, часто из соображений безопасности или из-за нежелания говорить о неприятных, болезненных вещах: «Бабушка особо не любила вспоминать это. Потому что она застала это, когда ей было 4–5 лет» (51); «Мама тоже особо не любила об этом говорить» (68); «Эта тема поднималась не часто — о ней не любили вспоминать. Я об этом в принципе никому не рассказываю» (28); «Бабушка молча и очень грамотно останавливала дедушку, потому что разговор этот был, с её точки зрения, не при детях и, с её точки зрения, опасным вообще для разговоров» (61); «Я до последнего не знала, что я — крымская татарка, отец оберегал нас от этого» (60).

Ответственность за разрыв семейной памяти как исследователи, так и более молодые потомки иногда возлагают на второе поколение, которое, по их мнению, сделало сознательный выбор в пользу забвения: «Хоть [их родители] и были репрессированы, но всё это они [дед и бабушка] будто не помнят» (19). К аналогичному выводу приходит в своём исследовании В. Дупрат-Куштанина, которая утверждает, что старшее поколение «обладало полным контролем над семейной памятью, которая была передана или не передана младшим поколениям»²⁰. Такие утверждения представляют

²⁰ *Duprat-Kushtanina V.* Remembering the repression of the Stalin era in Russia: on the non-transmission of family memory // *Nationalities Papers*. 2013. Vol. 41, № 2. P. 225–239.

ся не совсем справедливыми, так как до 1990-х годов второе поколение часто просто не могло найти информации о судьбе родителей, да и в более позднее время не получало ничего, кроме формальных справок о реабилитации. Тем не менее, нельзя не согласиться, что на непосредственных потомках лежит определённая ответственность за обрыв передачи семейной памяти о репрессиях, пусть и осуществлённый из лучших побуждений.

В результате формирования семейных паттернов воспоминания у потомков пострадавших формируется устойчивое убеждение, что об этом семейном опыте не стоит говорить публично, с посторонними, или даже в семейном кругу: «Не выносилось это всё на обсуждение, это было внутри семьи» (45); «Просто такая информация, которая была не для распространения, подчёркиваю» (51); «Мы никогда не обсуждали это с друзьями, с семьёй тоже старались не говорить о плохом» (59).

В достаточно редких случаях потомкам были известны детали, касавшиеся травмирующего события в жизни предков (подчеркнём, что все опрошенные происходят из семей, где память о репрессиях передавалась хоть в какой-то форме). Но, как это уже ранее устанавливалось исследователями²¹, информация сохраняется не столько о травмирующем событии, сколько о каких-то дополнительных обстоятельствах, иногда забавных, иногда романтических или детективных: «Мою прабабушку проиграли в карты, потом её выкупала подруга, с которой они дружили до самой смерти» (19); «прабабушка... когда мне рассказывали истории про неё: какая она была удивительная женщина — и что она одна с тремя детьми, там в Казахстане, она себе дом там получила» (19). Возможно даже дидактическое использование ситуации: «Рассказывала своим детям в детстве, чтобы научились шутить правильно и гадостей не говорили» (55). В общем, разговор в семье может идти о чём угодно, кроме, собственно, травмирующего события: «Но всё же мой дед запомнился не этим, а его добрыми поступками и широкой душой» (59).

²¹ Ibid. P. 236.

Память о судьбе предков часто передаётся в виде «фактов» и лишена личного, эмоционального отношения потомков²². Некоторые потомки просто рассматривают судьбу предков как иллюстрацию в учебнике истории или кадры из фильма: «Мне это неинтересно было. ... Да и сейчас мне как бы не сильно хочется докапываться. Что было, то было» (46); «Это как смотреть фильм, быть свидетелем, но ты же не являешься самым участником такого» (19). Отсюда отнесение травматогенной ситуации в далёкое прошлое, представление о ней как не имеющей никакого смысла для настоящего и будущего (особенно у самого младшего поколения, но не только у него): «Сто лет прошло, что, идти Наполеона спрашивать, зачем он на Россию шёл?» (56); «Великая Отечественная тоже была сто лет назад, много что было сто лет назад, Бородинская битва была двести лет назад» (18). Потомки признают, что семейная память о репрессированных предках постепенно исчезает, и сожалеют об этом: «Конечно, хотелось бы узнать об этом, но не от кого узнать, родственников нет» (64); «И мамы моей уже нет, бабушки, тем более, давно уже нет. Спрашивать уже некого» (51).

В результате сказанного выше, потомки затрудняются придать смысл страданиям предков и воспринимают травматогенную ситуацию как нечто случайное, деперсонализированное и бессмысленное, отделяваясь комментариями типа «такое было время» или «была система, план». Часто потомки прикрываются утверждением, что «вся страна пострадала, и мы не единственные». Как выразился один из молодых респондентов (и с ним сложно не согласиться), «в советский период со всеми происходили те или иные странные вещи» (27). Но, как говорится, если пострадали «все», то никто не пострадал. Попытки найти какой-то смысл в происшедшем выливаются в феномен, который уже был ранее отмечен исследователями, занимавшимися темой возвращения репрессированных коммунистов из заключения. Коммунисты настаивали, что их страдания были для чего-то «нужны» партии, делая попытки объяснить репрессии, оставаясь внутри

²² Ibid. P. 228.

советского дискурса²³. Сходные попытки можно увидеть и у отдалённых потомков репрессированных: «Это нормальная ситуация. «Прогон» через какие-то допросы и всё такое. Потому что сам характер войны определял людей, которые сотрудничали [с врагом]. Если они сотрудничали, их нужно было выявлять» (19).

Даже лексика, которую употребляют потомки (кулаки, враги народа, эксплуататоры и т. д.), находится полностью в рамках советского дискурса: «Враг народа, какой он враг народа? Он колхоз подымал из ничего, в такие года тяжёлые с 35 по 37 год, голодные года были» (73); «Никакие они не были кулаки, а были просто обыкновенные, очень трудолюбивые люди» (68); «Прадед вообще был социалист по убеждениям. Он не был эксплуататором, ни каким-то антиреволюционером, был вообще за советскую власть» (20). Заметно устойчивое убеждение потомков, что проблема не в репрессиях, а в том, что их предки были хорошими, правильными, поэтому именно их репрессировать было не нужно. Таким образом, коллективного конструирования культурной травмы не происходит, и каждая семья, за редкими исключениями, пытается справиться с последствиями травматогенного события индивидуально, «оставляя других страдать в одиночестве»²⁴.

По мнению классиков теории культурной травмы, придание смысла травматогенному событию зависит от выработки мастер-нарратива, который объединяет и осмысливает все индивидуальные страдания. Исчерпывающее определение даёт П. Штомпка, говоря об «индустрии смысла», то есть о производстве общего смысла пережитых страданий из разнообразных нарративов, включая даже мифы и теории заговора²⁵. Очевидно, что в России такой индустрии нет. Есть ряд альтернативных, т. е. несоветских, дискурсов, например, у депортированных народов, и они выполняют свою функцию

²³ Адлер Н. Сохраняя верность партии. Коммунисты возвращаются из ГУЛАГа / Н. Адлер ; пер. с англ. И. П. Лейко. М. : РОССПЭН, 2013. С. 211–238.

²⁴ Alexander J. Toward a Theory of Cultural Trauma... P. 1

²⁵ Sztompka P. Op. cit. P. 160.

консолидации этнических групп (но не идеально). Можно также отметить восходящие к 1990-м годам попытки создания альтернативного дискурса о том, что репрессиями были уничтожены самые лучшие люди, крепкие хозяева. Эти попытки сопровождаются введением в нарратив современной терминологии – «фермер», «бизнес», «своё дело». Но сплочение общества в целом невозможно на основе множества противоречащих друг другу дискурсов. Вопрос о выработке мастер-нарратива остаётся открытым.

Основную надежду результаты исследования позволяют возложить на ненарративные практики передачи памяти и конструирования культурной травмы, то есть на практики, предполагающие не создание связного повествования о травмирующем событии, а воплощение памяти в материальных предметах (посредством творчества или сохранения памятных объектов) или действиях (танцах, ритуалах). Ненарративные практики обладают эмоциональным воздействием, способствующим пониманию между разобщёнными группами людей. Ненарративные практики изучаются в рамках постколониальной или «новой» эпистемологии, предполагающей, что традиционные методы фиксации памяти не приспособлены к передаче опыта определённых групп людей. В научной литературе есть примеры применения данной методологии к исследованию опыта пострадавших в ходе политических репрессий в СССР²⁶. Отсюда логически вытекает возможность применить методологию изучения ненарративных практик передачи памяти для исследования межпоколенческой трансмиссии и формирования культурной травмы в России.

²⁶ *Gheith J.* «I never talked»: enforced silence, non-narrative memory, and the Gulag // *Journal of Mortality*. 2007. Vol. 12, № 2. P. 159–175.

ГЛАВА 2.

Модели детравматизации в социальной памяти жертв политических репрессий

Предмет данной главы составляет региональный аспект социальной травмы массовых политических репрессий в Советском Союзе, объектом исследования являются потомки жертв массовых политических репрессий в Республике Мордовия (Российская Федерация). Автор ставит перед собой цель выявить основные модели проработки травмы массовых политических репрессий жертвами массовых политических репрессий и членами их семей в провинциальном российском регионе.

Социологические определения коллективных травм отличаются относительным разнообразием и фокусируются, с одной стороны, на разграничении критериев индивидуальной и коллективной травмы, а с другой — на социальном процессе травмы, включающем попытки переосмысления и способы «обезвреживания» травмирующих событий — войн, геноцида, рабства, революций и т. д. При этом и памятование, и забвение событий прошлого рассматриваются в качестве контролируемых социальных процессов, фреймируемых в соответствии с формальными и неформальными предписаниями и образцами, а коллективная травма — как социальный конструкт, характеризующийся чётким распределением символических ролей, наказаний и компенсаций.²⁷ В качестве моделей воссоздания

²⁷ *Александр Д.* Культурная травма и коллективная идентичность / Д. Александр, Д. Ю. Куракин // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 5–40; *Анкерсмит Ф. Р.* Возвышенный исторический опыт / Франклин Рудольф Анкерсмит ; пер. с англ. : А. А. Олейников [и др.]. М. : Европа, 2007. 612 с.; *Айерман Р.* Социальная теория и травма / Р. Айерман ; пер. Д. Хлевнюк // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12, № 1. С. 121–138; *Адорно Т.* Что означает «проработка прошлого» // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М. : Новое литературное обозрение, 2005. С. 64–80; *Ассман А.* Забвение истории — одержимость историей. М. : Новое литературное обозрение, 2019. 552 с.; *Хальбвакс М.* Коллективная и историческая память // Неприкосновен-

разрушенных травмой структур смысла следует упомянуть выделенные Й. Рюзеном стратегии историзации в форме интеграции травматического опыта в макроисторический нарратив²⁸, а также мифологизацию травмы посредством соотнесения фактов с «событиями» священного мира²⁹.

В качестве основных методов исследования социальной памяти о массовых репрессиях в Республике Мордовия автор использовал глубинное интервью с потомками жертв массовых политических репрессий. Всего было взято 36 интервью с потомками жертв массовых репрессий, в основном раскулаченных крестьян. В целевую выборку вошли 22 женщины и 14 мужчин в возрасте от 20 до 93 лет, представлявших в основном третье или четвёртое поколение потомков жертв репрессий. Двое опрошенных (женщины 79 и 93 лет) относились непосредственно к числу жертв, будучи членами семей репрессированных: одна родилась в ссылке, другая помнила, как её мать бежала с детьми из родного села, чтобы избежать ареста, в то время как отец уже отбывал ссылку. Преимущество метода опроса потомков репрессированных, раскрывающего устную историю семьи, заключается в возможности изучать проработку социальной травмы в контексте социальных изменений и проследить её тенденции в нескольких поколениях семьи.

Состояние коммуникативной семейной памяти и «постпамяти» потомков репрессированных автор попытался оценить на основе данных глубинных интервью с потомками жертв массовых репрессий в Мордовии. Можно выделить такие аспекты травмы репрессированных в Мордовии в соответствии с концепцией Доминика ЛаКапры, как «лишения» (losses) и «утраты» (absence)³⁰. Понятие лишения описывает восприятие материальных и статусных потерь репрессированных — разграбления личного имущества, нищеты и социальной стигма-

ный запас. 2005. № 2. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskaya-pamyat.html> (дата обращения: 07.10.2021).

²⁸ Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времён»: Проблемы исторического сознания. М. : ИВИ РАН, 2005. С. 57–58.

²⁹ Там же. С. 51.

³⁰ La Capra D. Trauma, Absence, Loss // Critical Inquiry. 1999. Vol. 25, № 4. P. 696–727.

тизации. Многие опрошенные знают, где находились отнятые у их семьи дома и другая недвижимость, по большей части уже не представляющая какой-либо материальной ценности:

– У них была своя маслобойня в центре села, и он [прадед] такой работающий был и во время работы тяжесть поднял, спину повредил, позвоночник, стал лежащим, в общем, от этого умер. Поскольку хозяина не осталось, то у их семьи отобрали всё в их селе же. Ну вот, что была одежда, та на них и осталась. Их приютили у себя, в бане какие-то дальние родственники на краю села (женщина, 43 года).

– Моей бабушке на тот момент было 6 лет, если она с 1925 года, значит, ей было 6 лет, и она помнила этот момент очень хорошо. Она рассказывала, что их выгнали из дома в чём они были, вот, в том числе, например, она была босиком... И, значит, до самого вечера никто из крестьян в деревне не пускал их к себе домой, в общем, все боялись, что их тоже раскулачат за помощь кулакам, собственно говоря. Только когда уже стемнело, один из соседей потихонечку пустил их в свою баню переночевать (женщина, 51 год).

– Семья собрала некоторые вещи, которые смогла унести на руках, и перешла реку Алатырь, переплыла на лодке, и где-то примерно в 40 километрах как через лес идти по прямой, вырыла землянку и жила около 5 лет в землянке. ...На протяжении около 5 лет жили в овраге, ну а потом семья перебралась на хутор, на кордон, потому что один из сыновей стал лесником, то есть просто перевёз всю семью (мужчина, 31 год).

В качестве «утраты» можно определить не менее болезненные нематериальные потери репрессированных, включая память и родственные связи, информацию о происхождении и судьбе погибших или сосланных родственников, которая может быть просто утерянной, а не целенаправленно скрытой. Эти два компонента травмы накладываются и взаимно усиливаются, причиняя страдания опрошенным:

– Я узнала, что их сослали где-то в Забайкалье, в Забайкальский край. У прабабушки была сестра Серафима, она там погибла. А прабабушка, там есть разногласия, что вроде бы... Сейчас я успокоюсь. ...Что как будто она тоже погибла в Забайкалье, что на дороге лежала и... Не могу успокоиться... Что она в бане

жила, в землянке, а потом она в Разино пошла и вроде бы дорогой она умерла. ... Да всё я, наверное, изменила бы, чтобы вернуть их назад, но только этого не может быть. Чтобы вернуть жизни всех вот этих вот (женщина, 53 года).

Насыщенность семейных нарративов опрошенных трагическими подробностями и их разнообразие могут создать ложное впечатление о широком распространении посттравматического стрессового расстройства, связанного со сталинскими репрессиями, в Мордовии. На практике воспоминания о политических репрессиях слабо сохранились даже в семьях представителей наиболее массовой категории репрессированных — раскулаченных в период коллективизации крестьян, а забвение этих событий представляет собой не менее актуальную исследовательскую проблему, чем семейные травмы.

Объясняется это не столько относительной малочисленностью репрессированных (по оценкам Т. Д. Надькина, общее количество раскулаченных в Мордовии составило 7–8 тыс. семей; таким образом, официально учтённую комиссиями по реабилитации цифру в 13 882 жертвы репрессий различной тяжести (чуть более 1% населения республики) следует увеличить в 2–3 раза³¹, в то время как потери погибшими в период Второй мировой войны составили 130,9 тыс. чел.)³², сколько «естественной» или преднамеренной фрагментацией семейной памяти вследствие трансформационного характера травмы. Травма социальных трансформаций, сущность которой состоит именно в смене идентичности общества в целом («травма-2», по характеристике Ф. Анкерсмита³³), включала радикальное изменение социальных идентичностей множества индивидов и групп: профессиональных, территориальных, идеологических, политических идентичностей.

³¹ *Надькин Т. Д.* Сталинская аграрная политика и крестьянство Мордовии. Москва : РОССПЭН ; Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2010. С. 174.

³² В память о ветеранах Великой Отечественной войны // Верховный суд Республики Мордовия : [сайт]. 5 июня 2015. URL: http://vs.mor.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=56 (дата обращения: 15.04.2021).

³³ *Анкерсмит Ф. Р.* Указ. соч. С. 448–449.

Для потомков раскулаченных, оставшихся в том же селе и не подлежавших реабилитации до принятия Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», актуальной становилась проблема не утраченной, а «испорченной» идентичности. Так как гонителей, участвовавших в разграблении их имущества, в таких случаях было больше, чем жертв, местное сообщество предпочитало либо видеть в них «виновную жертву», либо вообще забыть об этих событиях. Многие опрошенные впервые узнают о трагической судьбе членов семьи, пострадавших в период коллективизации, только после принятия закона, в связи с началом выплаты компенсации жертвам раскулачивания или в результате нарушения «обета молчания» родителями. Однако информация о причастности к этой трагедии односельчан и после официального признания статуса жертвы не вызывает у них желания установить личности виновных и характер их вины:

— *Репрессиям подвергся дед по маминой линии — Тетюшкин Василий Леонтьевич. Он не был кулаком. Хозяйство было так... средненькое, не бедствовали они, но не кулацкая семья. Как мне рассказывала старшая сестра, со слов матери и бабушки, наверное, шло собрание в селе, это тридцатые годы, точно я не могу сказать. Наверное, когда начинались колхозы, коллективизация. Шло собрание, на сцене президиум сидел. В клубе собрание было, наверное, я так думаю. А дед сидел в зале. Ну и там со сцены что-то говорили про советскую власть, а говорил наш — лобасковский. Имени не знаю, фамилии тоже. Он вроде тогда или начинал руководить колхозом или председателем сельского совета был [село Лобаски].*

Про советскую власть... он что-то, наверное, советская власть, вот призывает к коллективизации, объединяться, я так думаю. А он [дед] был человеком резким, что думал, то и говорил. И он из зала выкрикнул: «Это ты, что ли, советская власть?» — Тот обиделся, говорит: «Да, я — советская власть». — «Но если такая советская власть, как ты, то не стоит вступать в колхозы», — примерно такой разговор. Тот со сцены говорит: «Я тебе покажу, что такое советская власть». Ну и всё. Не из зала, а на второй день его забрали. ...Впервые я узнала... где-то

в девяностые годы. Как-то особо не рассказывали у нас в семье про это. А вот когда началась реабилитация, вот тогда стали рассказывать, вспоминать, что вот у нас деда тоже репрессировали. Вот тогда рассказывали. А потом я жила не здесь. А в 90-е годы, в 93-м году мы переехали сюда из Казахстана. И поэтому я интересовалась, спрашивала, вот они рассказали. Это где-то в девяностые годы (женщина, 74 года).

Характерно, что о происхождении и «трудном прошлом» семьи молодое поколение в период «перестройки» узнаёт одновременно с возобновлением публичной дискуссии по теме советских политических репрессий, иногда не отходя от «места памяти» – телевизора:

– Очень интересно, что историю я узнала случайно, когда в 1989 году, я думаю, вы помните: Верховные Советы, прямые эфиры по телевидению, бабушка слушала Сахарова, и зашёл дедушка. Полемика была по поводу Сталина, а дедушка всегда был приверженцем Сталина. Несмотря на то что он из семьи верующих, которые не прекращали верить и соблюдали все правила, несмотря вот на эту историю. Но мы тогда этого, я лично как ребёнок не знала, и бабушка ему сказала: «Ну как ты можешь так любить Сталина, если он сгноил твоих дедов?»

Это было дословно, у бабушки был такой протест. Дедушка молча, я помню, встал тогда и вышел из комнаты. То есть он не сказал ничего, не рассказывал, это был 1989 год, я очень ярко запомнила, потому что у бабушки был прям такой порыв эмоциональный, когда она рассказала.

До этого времени как-то никогда в семье никто не вспоминал. А вот после 1991 года потихонечку дедушка начал рассказывать то, что он знал от своих родителей, как собирались ночью, как ехали, что было очень страшно. А уже в 1999 году даже на одном из семейных праздников, когда показали фотографии впервые, старые фотографии семей, и вдруг стала мелькать фамилия не Вавилина, которая вот моей мамы девичья, а Косицына. И дедушка так впервые рассказал, что вообще вот одна из семей, пока бежала, сменила фамилию (женщина, 41 год).

– И когда я ещё училась в институте, у бабушки, значит, и дедушки я стала спрашивать, откуда и почему. Вот ты мордвин, и я мордвин. Ой, с какой деревни там, что. А они говорят: «Нет,

мы, получается, были вынужденные беженцы из голодающего Поволжья после раскулачивания». И я села, открыв рот, и слушала (женщина, 48 лет).

Опрос показал, что воспроизводству семейной травмы способствует не столько замалчивание травмирующих событий в общении с новыми поколениями, которые могут по умолчанию считать свою семью обычной, сколько осознание самого факта умолчания или ужас перед тайной, вызванный, например, слухами об обстоятельствах гибели родственников, которые опрошенные не решаются проверить. Респонденты впервые реагировали на информацию о травматическом прошлом по-разному: либо как на совершенно неожиданную или даже нежелательную информацию: *«Поскольку мы же учились в советской школе, восприятие было такое: блин, неужели мы из «этих»? Вначале как бы да»* (женщина, 43 года), либо, наоборот, как на долгожданный способ избавиться от страха и давления «спирали отрицания»:

— Мама мне говорила, что у нас всё это было строго под грифом «секретно». Фотография одна-единственная моего прадеда и прапрадеда, где мой прадед в офицерской форме, мой прапрадед в кафтане, вернее, в жилетке с огромной бородой, такой холёной. За ним, значит, сын стоит и жена. То есть моя бабушка и прабабушка. ... А так у них табу, запрет был на это обсуждение. ... Это просто вот как бы их тайна. Тайна того, что побег из этого хутора, то, что там репрессии страшные начались. ... Ну я и говорю, как запрет был. Табу. Тема не обсуждалась. Ну потому, что это всё чревато было. И тот страх, и понимание того, что происходило, ну как бы он уже в них жил. Не то, что жил, они эту тему боялись вообще. Я так понимаю, естественно, из наших родственников наверняка там столько было расстреляно, если вот они только — брат с сестрой со своими семьями смогли сбежать. Там такое творилось, значит! (мужчина, 55 лет).

Другая исследовательская задача заключалась в выявлении социальных рамок реактуализации травматического опыта в регионе. Нуждается ли травма советских политических репрессий в проработке в настоящее время? Исходит ли запрос на такую проработку от потомков жертв репрессий? Описыва-

ют ли они травматический семейный опыт в модальности обвинения каких-либо групп или политического режима?

Как показывают данные исследования, символическое возвращение прежней идентичности в форме памятования семейной травмы потомков репрессированных не бывает полным и тем более не способствует генерализации индивидуальных травм и формированию коллективных травмированных идентичностей. В исследовании чаще всего встречается индивидуализация семейной травмы, нарратив о которой имеет структуру, аналогичную рассказу жительницы села Лобаски, включая три элемента: более или менее определённые сведения о личности жертвы и причинах трагедии (памятование), внушающая ужас тайна, связанная с обстоятельствами её гибели и захоронения (пассивное забвение) и нежелание собирать информацию о виновниках трагедии (активное забвение).

Опрос показал, что сами по себе массовые репрессии не создают коллективной идентичности и «сообществ памяти» в следующих поколениях. Такие идентичности конструируются либо вследствие социальной сегрегации (которая в советском случае отсутствовала), либо в результате деятельности социальных движений, стимулирующих «повторную травматизацию» потомков репрессированных, включая как формирование травмированной самоидентификации на индивидуальном уровне, иногда без связи с опытом родителей, так и генерализацию таких самоидентификаций.

В исследовании были выявлены способы обращения с семейной травмой политических репрессий, сводимые не к формированию мнемонических сообществ и коллективных культурных травм, а к выбору и усвоению репрезентаций и нарративов «культурной памяти» из имеющегося в распоряжении опрошенных репертуара, или/и инкапсуляции травмы в виде семейной тайны, утрачивающей свою болезненную остроту с каждым поколением. С большим основанием можно говорить об усвоении ими доминирующих вначале в советском, а затем — в постсоветском обществе критериев оценки незаконности репрессий.

Так, идеология советских комиссий по реабилитации рассматривала жертв политических репрессий в качестве зако-

но послушных советских граждан и не ставила под сомнение легитимность советской правовой системы. В отношении раскулаченных эти диспозиции выражались в утверждениях о том, что они были необоснованно отнесены к категории «кулаков». Эта стратегия, прослеживаемая ещё в жалобах раскулаченных и лишенцев в 1930-е годы и примирительных нарративах позднесоветского периода, встречается и в интервью пожилых респондентов.

Установки местного сообщества в отношении семей раскулаченных заключались либо в стигматизации их членов, которых в нескольких поколениях могли называть «кулаками» даже близкие люди, либо в забвении, которое носило взаимный, «диалогический» (А. Ассман³⁴) характер.

В качестве примера можно привести случай 66-летней женщины, которая после окончания учёбы в педагогическом институте в начале 1970-х годов выбрала из нескольких вариантов государственного распределения на работу родное село своего отца, семья которого была раскулачена и впоследствии вынуждена была бежать из-за опасности ареста. На вопрос о том, в каком возрасте она узнала об этих событиях, опрошенная ответила:

— Я уже была взрослая, у нас очень рано умерла мама, и отец был один. И я уже звонила отсюда, у нас уже появились телефоны, и мы с ним говорила по часу, по полтора каждый день. И он мне всё это рассказывал. ... Уже была взрослая, порядка лет 15–16 назад мы с ним разговаривали, а умер он всего только 7 лет назад. ... Я в Булдыгино попала — решила просто съездить, посмотреть на родину отца, и осталась здесь, работала в школе. Проработала и вышла замуж. ... Деда всё... Тогда пожилые люди были ещё живы. Когда они узнали, что я внучка, они очень много рассказывали о них [деде и бабке], но я тогда как-то не вникала во всё это. Но никто о них плохо не отзывался, говорили, что были очень работающие (женщина, 66 лет).

Как следует из этого рассказа, земляки деда опрошенной обходили молчанием тему раскулачивания. В данном случае они могли учесть статус опрошенной, которая росла в дру-

³⁴ Ассман А. Указ. соч. С. 195.

гом посёлке, а на родину отца приехала уже в новом статусе учительницы по государственному распределению. Впоследствии, узнав о преследованиях своей семьи, она также не стала обвинять конкретных людей.

Проработанная таким образом семейная травма деперсонализируется и трансформируется в поучительный исторический пример, но не в предмет актуального социального конфликта.

Общих идеологических установок, необходимых для формирования единого социального габитуса, у жертв репрессий не было ни в советский период, ни позднее. Опрос показал, что они по-разному относились к коммунистам и советской власти. Можно выделить консервативную, религиозную и предположительно монархическую часть репрессированных, до революции 1917 года служившую опорой режима, осуждавшую советскую власть в качестве «безбожной» и принципиально выступавшую против коллективизации:

— А по воспоминаниям моей матери, она говорила, я говорю, мам, а ну что уж там вот не понимали, что ли, кто-то уехал, кто-то вступил чтобы хотя бы. Она говорит, ну, во-первых, они любили сами работать на земле очень, а во-вторых, верующие они очень были. Я говорю, ну вот, вера, вот все тогда верующие. И она мне сказала, что к нам батюшка приходил из Ельников и говорил: «В колхозы не вступайте, власть эта ненадолго. Если вы типа вступите в колхоз, то предадите Бога» (женщина, 62 года).

Однако приверженность традиционному крестьянскому образу жизни, включая индивидуальное хозяйство и религиозность, совершенно не исключала лояльности по отношению к советской власти. Так, дед опрошенной женщины из села Лобаски был репрессирован, потому что публично выразил сомнение в том, что председатель колхоза её представляет, а прадед другого респондента — потому, что предложил поддерживать проект Конституции 1936 года, провозглашавшей свободу совести:

— Прадедущка, он был церковным старостой, внештатный был. И на сходе был, когда обсуждали новую Конституцию в 1936 году, он призвал сельчан одобрить и сказал на этом, заявил,

что эта конституция дарует нам свободу совести и вероисповедания и позволит нам, и даст возможность нам обратиться к начальству, чтобы нам вернули церковь (мужчина, 79 лет).

С другой стороны, многие из упомянутых в опросе жертв репрессий лояльно относились к советской власти, воевали на её стороне во время Гражданской войны и занялись предпринимательской деятельностью, составлявшей формальный «признак кулацкого хозяйства», на законных основаниях в период «новой экономической политики» большевиков в 1920-е годы:

— Он [отец] был военврач. И вот он после этого, уже здесь сменилась советская власть, вернее, власть стала советской, и вот отец вместе с войсками Красной армии шёл, от Деникина отступал, и его преследовали. И вот папа дошёл до Омска с этими с войсками. Ещё мама долго хранила такие бумажечки, что за хорошую службу премируется двухмесячным окладом. ... Дмитрий, после того, как вот он вернулся в Ельники, отец, в Ельниках жил мой дядя, Константин Григорьевич Денисов. Здоровенный мужик, работяга, он построил водяную мельницу. Дядя Костя брат, муж моей тётки, тётки Шуры. После они жили вот здесь вот, в Марийской АССР, между Казанью и Йошкар-Олой, в посёлке, вот, и дядя Костя построил водяную мельницу. А потом где-то нашёл он в поле какой-то двигатель нефтяной и построил ещё и паровую мельницу. Уж не знаю, какая там мельница, двигатель был шестнадцать лошадиных сил. Построил мельницу, а две мельницы нельзя. Он говорит отцу — Дмитрий, покупай у меня мельницу. — Дядя Кость, за что же я куплю? — Когда-нибудь отработаешь. Но вот папа стал работать на этой мельнице. Мама вспоминает, отец здоровенный был, бывало, вот так два мешка вот зерна несёт под этим, и хоть бы что. Но я уж папу другим, конечно, помнила. А тут НЭП кончился, прикрыли. И Дмитрий оказался кулаком. И Дмитрия отсылают в Котлас, по-моему, в ссылку. Он работал на добыче бокситов и приехал без единого зуба. Это я уж помню. Когда отец отработал 3 года, он вернулся (женщина, 93 года).

Насколько ошибочными могут быть попытки приписывания респондентам единого габитуса на основании происхождения, показывают примеры упомянутых в опросе предста-

вителей дворянского сословия. У семьи Чернавиных, которая была вынуждена переехать в Саранск из Ленинграда, пострадали родственники из-за своего имущественного положения или так как до революции они «*были офицерами, управделами великих князей Владимировичей*» и имели многочисленных родственников в эмиграции (мужчина, 83 года). Однако респондентами упоминаются также родственники из числа потомков провинциальных дворянских родов, продавших свои поместья после крестьянской реформы 1861 года либо вообще их не имевших и конвертировавших свой социальный капитал в профессию.

— *И вот этот мой дедушка по маминой линии, Безденцев Дмитрий Иванович, он был кровей дворянских, умер от ран во время Великой Отечественной войны в госпитале в Смоленской области. Дмитрий Иванович был директором детского дома. Он был на очень хорошем счету, он был физически очень сильно развит, музыкальный, играл практически на всех инструментах, вот, водил ребят в поход, на рыбалку, с ночёвкой, за что беспризорники, бывшие, кстати, уголовники, его очень уважали и любили (мужчина, 54 года).*

— *А вот по линии моего папы, получается его бабушка Спиридонова, она была как раз из зажиточных крестьян. ... Дедушка рассказывал, что, когда она выходила замуж за потомственного учителя из разорившихся дворян, как раз дворянский род был менее обеспечен, менее крепко жил, чем она, будучи из крестьян. Ещё даже крестьянская семья была недовольна, что вот финансово дочь попадает в неудачную семью, всякие там заслуги, учителя и так далее — это хорошо, но денег-то у них было больше и было крепче. А потом, конечно же, они всё потеряли... (женщина, 41 год).*

— *По линии у меня прапрадед был директором, например, дореволюционной школы, собственно, здесь. Первого мужского приходского училища, например. Это школа была, которая стояла на месте сегодняшней Мордовской епархии, которая тоже была снесена в районе 2010 года. ... Ну, собственно, его сын, уже мой прапрадед, был почётным гражданином города Саранска. Собственно, одним из первых получивших его в советское время, Гридин Иван Николаевич. Но он, собственно, был уже директо-*

ром школы, тоже был просветителем, но уже был и бойцом Красной армии и, собственно, там во время 20-х гг. принимал участие в боях на стороне Красной армии, с басмачами (мужчина, 20 лет).

Отсутствие генерализации индивидуальных травм в коллективные отчасти объясняется самой природой травмы, связанной с потерей социальной идентичности репрессированных в локальных сообществах, включая положение в занятии, репутацию, имущественный статус, родственные связи и превращение в аутсайдеров.

Однако опрос демонстрирует и другую сторону трансформационной травмы. Из интервью видно, как советская система буквально навязывала новую гражданскую идентичность членам семей раскулаченных в качестве условия доступа к социальным благам по принципу «сын за отца не отвечает»: *«Дед по линии матери владел единственной в том месте водяной мельницей, занимался этим бизнесом... И когда дело дошло до раскулачивания — просто мой дед по линии матери, он от этого ужаса умер в один день. И моя бабушка написала заявление, отреклась от своих родителей, и они не были этапированы. Но мельницу и всё животноводческое поголовье — всё национализировали в полном объёме. ... Она начала работать в колхозе, в полевой бригаде, ну, видите, в 1935. Она с 1914 года, вот ей 16—17 лет. Она церковно-приходскую школу успела закончить, поскольку была выходцем из хорошей семьи. Поэтому она была грамотной и сразу была назначена бригадиром, и все дела, и в войну чуть ли не до председателя дотянулась. То есть сильная женщина была» (мужчина, 61 год).*

В следующем поколении этой семьи «испорченная идентичность» родителей никак не препятствовала социальной карьере: отец и мать респондента, оба происходившие из семей раскулаченных, познакомились в старших классах сельской школы и вместе закончили аграрный институт в соседнем областном центре, после чего уже получили назначение на работу в столицу Мордовии — Саранск.

Вследствие радикальных и неоднократных трансформаций собственной и семейной социальной идентичности респонденты демонстрируют нежелание предъявлять претензии каким-либо социальным группам или институтам. Исследова-

ние в Мордовии выявило тенденцию к «активному забвению» личности исполнителей репрессий потомками их жертв, несмотря на рассказы старшего поколения. Вопрос о желании встретиться с участниками репрессий или их потомками и обсудить проблему их вины, как правило, вызывал отторжение у респондентов, которые не видели смысла в таком обсуждении:

– *Нет, нет. А чего, зачем? Это не нужно уже было. Ещё хуже сделаешь, сейчас тоже время не то* (женщина, 69 лет).

– *Нет. У меня, честно говоря, и желания никогда не было, да и потом, повторяю, эти люди уже давно в небытии, а уж какие там родственники* (мужчина, 49 лет).

При этом некоторые из респондентов знали имена гонителей своей семьи, добавляя, что их потомки уже не живут «ни в районе, ни в селе», другие не интересовались ими, но не исключали, что их потомки могли входить в их круг общения:

– *Нет. Да, может быть, я с ними учился в одном классе, Бог его знает, я просто их не знаю* (мужчина, 54 года).

С другой стороны, некоторые респонденты считали раскрытие имён всех причастных к репрессиям в принципе необходимым для того, чтобы увековечить память жертв политических репрессий и исключить их повторение:

– *Наверное, вернуть уважение к тем людям, которые пострадали, и всё-таки не то, что какое-то наказание, но открыть имена тех, как правильно сказали, кто делал доносы, кто пользовался этим историческим периодом для решения своих личных проблем, личной ненависти, и, наверное, вот об этом чаще рассказывать, чтобы снова к вопросу не вернулось. Это самое страшное в данный момент, чтобы это не вернулось, и чтобы элемент вот такого доноса, он всё-таки обществом не воспринимался. Чтобы было неприятие и была память, что мы помним, что когда-то большинство поддержало ту систему, которая уничтожала честно работающих людей, абсолютно невиновных в чём-то, чтобы этот элемент, вы знаете, уважения и к мнению меньшинства тоже было* (женщина, 41 год).

Однако прямой вопрос об общественной дискуссии в формате комиссии правды и примирения вызывал у опрошенных негативную реакцию. Они утверждали, что такая форма дискуссии вызовет взаимные обвинения и усилит раскол обще-

ства, и отмечали, что предостерегают в своей общественной деятельности против публичных обвинений:

– *Нет, нет, это будет базар, и всё. Потому что они свою правду будут отстаивать, что мы имеем право, эти свою правду. У каждого своя правда, к сожалению, есть формулировка. Хотя это нереально, конечно, что правда была, правда должна быть одна, но у каждой стороны своя правда* (мужчина, 83 года).

Одна из причин состоит в трансформационном характере травмы, заключавшейся в насильственной смене идентичности индивидов и групп и навязывании им в совершенно новой социальной системе нового статуса, который мог стать равноценным прежнему. Исследовательские ожидания формирования культурной травмы репрессий у постсоветского поколения потомков репрессированных, основанные на исторических аналогиях, например, с травмой рабства у афроамериканцев, в данном случае не оправдываются, так как, в отличие от потомков рабов, дети и внуки жертв советских репрессий не подвергались дискриминации и сегрегации.

Осознание социальных трансформаций как процесса, охватившего период жизни нескольких поколений (*«теперь времена другие»*), составляет контекст семейной истории в интервью. Рассказывая о её событиях (переезды, образование и работа родителей, собственная профессиональная карьера), респонденты отмечают не только изменения в жизни семьи, но и последствия советской модернизации (открытие крупных предприятий, урбанизацию, расширение возможностей получения образования и выбора рабочих мест и т. д.) для региона и страны в целом. Именно эти изменения делают неизбежным усвоение советской идентичности потомками репрессированных и деактуализируют групповой формат обсуждения конфликтов и травм советского периода.

В результате опрошенные описывают социальную адаптацию семьи в терминах декомпозиции ранее существовавших идентичностей и усвоения новых. Это относится и к агентам репрессий, которых они характеризуют не в качестве реальной социальной группы, а как безличных функционеров «системы», не получивших никаких социальных преимуществ в результате социальной деградации их жертв. Такая деперсонали-

зация объясняет, почему респонденты игнорируют прошлые конфликты и не собираются выдвигать претензий конкретным людям или их наследникам.

Так, в качестве исключительных социальных категорий, непригодных для полной интеграции, советская система всегда выделяла духовенство и практикующих верующих. Однако опрос показал, что идентичность «советского человека» усваивалась даже потомственными священниками, который подчёркивает свою собственную и семейную лояльность по отношению к советской власти, основанную не на страхе, а на добровольном принятии советской идентичности и патриотизме:

— Я был председателем совета отряда, поповский сын, членом совета дружины, висел на доске почёта в школе, понимаете, вот. И это всё, то есть, это был человек, который практически вот от власти хлебнул по полной, понимаете? Я воспитался, такой интерес, такая, две грани, я был, с одной стороны, до мозга костей христианином, с другой стороны — до мозга костей был советским человеком. Вот советским, я любил Советский Союз, мне это привила семья, понимаете, семья, ни школа, не, ну, школа само собой, но семья, в основном, то есть, это именно, понимаете, и я вот поражен, в такой степени тому, что люди, вот этой злобы не было вообще. Они были патриоты по-настоящему, понимаете, любящие свою Родину.

... Вот этот отец Владимир Душук, к которому они приехали в Кареличи, в Белоруссию, который был жуткого нрава человек, очень тяжёлый ... Так вот, оказывается, выяснилось, что отец Владимир, практически его дом был центром управления партизанским движением в этом месте, в этом районе. ... У него был, знаете, и штаб там, и планирование операций у него проходило, и боеприпасы у них хранились, и продовольствие, и раненых у него, понимаете, и лётчик там какой-то у него, нет, лётчик в Бресте, это другой родственник у нас там, брат, вот, отец Макарий, в Бресте он служил, понимаете? То есть, вот этот человек, то есть, он просто выполнял свой долг... И немцы всю войну, вот сколько они там были, у них даже тени не было, то есть, а он ещё был настолько резкий, тяжёлый, то есть, даже не подумаешь, что к нему кто-то может подойти,

там, да. И они же думали искренно, что на духовенстве нужно будет опереться немцам, оккупационной власти, типа они же недовольные, они же притеснённые, они же там как бы изгой там в советском строе, а на самом деле оказалось, что нет, это опора оказалась, вы понимаете, вот, и что удивительно, оно единственное объясняет то, почему не тронули после, когда наши пришли, понимаете? Эти, видимо, за него заступились (мужчина, 57 лет).

У постсоветского поколения также наблюдается не конфликт «советской» и «несоветской» идентичностей, а их бесконфликтное совмещение в качестве позитивных:

— Когда на работе, я вот, например, работала на макаронке, я там была бригадиром, меня всё время спрашивали, почему у тебя такое это самое, что ты сказала, ты сделала, ты там построила, тебя все слушают. Я говорю: «Ну, потому что у меня с одной стороны председатели, с другой стороны — кулаки». Ну как-то вот разговоры этим вот и заканчиваются. У меня тётка всё время, вот тётя Катя у меня всё время говорила, царствие небесное, она у меня говорила то, что в нашем роду по мордовской стороне, по мордовской линии, то, что у нас бедных не было, мы всё время достойно жили, говорит, что всё время жили в достатке, но пока, естественно, не раскулачили. А с мамкиной стороны, там все правильные. Там председатели колхозов (женщина, 47 лет).

Для респондентов более молодых поколений, у которых советская идентичность не сформировалась, характерны скорее ощущение необратимых изменений в обществе и представление о советской системе как отдалённом прошлом, не оказывающем непосредственного влияния на настоящее. Эти установки демонстрируют представители 3–4-го поколения потомков репрессированных, объясняющих, почему они хотели бы узнать имена участников репрессий в отношении их родственников или встретиться с их потомками. Они отмечают, что всего лишь хотят знать, не раскаялись ли виновные в своей преступной деятельности и не понесли ли они какое-либо наказание за неё.

Одна из опрошенных — юрист по профессии, чей прадед был осуждён не в Мордовии, а на Северном Кавказе, отмети-

ла, что хотела бы знать имена виновных, но не собирается обсуждать этот вопрос с их потомками:

— *А какой смысл, кто за кого отвечает? Нет, конечно. ... Но это, вероятно, просто профессиональное. Знать, что вот это следователь. И ещё, что потом с ними было* (женщина, 40 лет).

Только одна из респондентов высказала пожелание связаться с потомками людей, по вине которых пострадала её семья, при этом утверждая, что рассматривает их только в качестве источников информации и не обязывает их лично осудить деятельность предков:

— *Наверное, было бы даже интересно с потомками не в плане какого-то наказания, а просто узнать его судьбу. Вот это было бы интересно. Да, понять, как его судьба сложилась, так что мы часто знаем, что эта машина потом направлялась и против тех, кто сначала ей помогал. Вот просто в аспекте узнать, а как было потом, его судьба и рассказывал ли он когда-то об этом своим уже потомкам, и помнил ли он об этом? Возможно, в какой-то возрастной период он поделился, возможно, поделился тем, что был неправ* (женщина, 41 год).

Другая выявленная в опросе тенденция, демонстрирующая социальные границы травмированного сообщества во временном аспекте, заключается в ограничении количества поколений, которые, по мнению респондентов, имеют моральное право пользоваться компенсацией за отобранное наследство. В 2000-е годы, когда дети раскулаченных находились в основном уже в преклонном возрасте, некоторые из них отказывались от компенсаций, считая, что их дети и внуки такого права не имеют:

— *Давали какую-то компенсацию. Человека 2–3 у нас тут получили. А мамке объяснили, мамка у меня неграмотная была. Мы ей объяснили, она говорит: «Спаси Бог! Работайте, живите, на костях дедушки вы не разбогатеете» — у нас очень много там внуков. — «И зачем на этих костях наживаться? Спаси Бог, если кто-нибудь будет хлопотать. Смотрите!» И мы никто из нашей вот... ни дядя, ни тётка, никто. Мать не разрешила, чтобы хлопотали эти деньги* (женщина, 70 лет).

Аналогичного мнения придерживались и сами представители 3–4-го поколения потомков репрессированных. Один из

опрошенных, в семье которого произошла полная детравматизация событий, связанных с репрессиями, и фольклоризация рассказа о спрятанных драгоценностях родственника – купца второй гильдии, расстрелянного во время Гражданской войны, так описывает эту позицию дистанцирования от травмирующих событий:

– *Не было даже что... такого нитья и зависти, что вот, мы были очень богатыми, сейчас бы мы были бы... как сыр в масле катались бы, потому что мы из семьи очень обеспеченной. Всегда было такое ощущение, что не нами это было заработано, это всё не наше, даже те сокровища, сундук, который там пропал, – это же не наше там, по каким бы заслугам нам это досталось бы? Надо всё самим, надо всё самим – скорее было вот так вот (мужчина, 45 лет).*

Другой фактор (де)актуализации травмы массовых репрессий составляет деятельность российского государства в качестве правопреемника советского, одновременно взявшего на себя обязательства по её компенсации. Позднесоветское и современное российское государство целенаправленно дистанцировалось от советских преступлений против правосудия, публично осудило репрессии и признало право жертв на реабилитацию и компенсацию, которым воспользовались многие из опрошенных, воспринимая эти меры как «извинения» со стороны государства. В исследовании описаны случаи, когда дети или внуки репрессированных узнавали об их реабилитации из официальных источников без каких-либо запросов со своей стороны, начиная с 1950-х годов:

– *Нашёл в газете, что они реабилитированы. Ну вот думаю, дай попробую, может быть, фотографии, и вот так вот нашлись (мужчина, 72 года).*

Проблема примирения потомков репрессированных и местного сообщества в случае их неформальной стигматизации решалась именно посредством интервенции государства – а конкретно региональной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, которая занималась пересмотром судебных дел без ведома членов семей репрессированных. Этой деятельности респонденты придают моральный и символический смысл, рассматривая её в качестве доказатель-

ства признания государством, кроме обязанности возмещения материального ущерба, своей моральной ответственности перед их семьями:

— *Маму мою потом признали пострадавшей от политических репрессий. Ей назначили надбавку к пенсии, ну, немножко, я не помню, тысячи полторы, что ли. Но и это было для неё значимо. ... Поскольку родители реабилитированы, значит, они ни в чём не виноваты, хоты бы чтобы дети, ну немножко хоть чего-то от государства поимели. Вот она имела надбавку к пенсии в полторы тысячи, и льготы там за свет, за газ, ну, в общем, на проезд. Вы знаете, даже не то что вот платили эти полторы тысячи, вот то, что даже в глазах односельчан... Вот понимаете, что значит жить в деревне, где все друг друга знают, где всё про всех знают.*

... Вот что я хочу ещё сказать, когда я получала эти справки о реабилитации. Господи, как я плакала, как я плакала! Я думаю, Господи, я всю жизнь без бабушки, без дедушки прожила, ни за что людей уничтожили, но прислали просто две бумажки, без извинений, без всего, ну хотя бы формально... Я понимаю, ну у них форма такая. Я понимаю, но думаю, государство как-то должно всё-таки извиниться. Ну потом вот, когда признали маму пострадавшей, думаю, это, я восприняла это как извинение перед моей мамой. А так, когда я получила, это было что-то. А мама... она все слёзы-то уже выплакала (женщина, 62 года).

Представители разных слоёв населения Мордовии начинают в индивидуальном порядке требовать отмены сфабрикованных приговоров начиная с 1950-х годов, а компенсации ущерба за раскулачивание — после принятия закона 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий». Исследование показало, что в 1990-е годы возможностью реабилитации осуждённых родственников воспользовались те, кто ранее знал о ней, но не осмеливался из-за стигматизации их семьи, пострадавшей в результате «кулацкой операции» НКВД в конце 1930-х годов. Причина заключалась, на наш взгляд, именно в радикальном изменении государственной политики и законодательства и, как следствие, дестигматизации раскулаченных:

– *И там приезжали тогда, и вот Шебардина Мария Андреевна, она тогда всё писала, писала по поводу отца. ... И она вот писала много, тогда приезжали из КГБ [ФСБ], это значит, до 1999 года, может, 1995 год. И тогда вот сказали, что донос был, вот почему их арестовали* (женщина, 71 год).

– *А потом вот когда уже стали давать эти компенсации, и когда я вот, например, приехала, мама говорит, вот там эти, деревенские, они получили компенсацию. А я ещё с таким удивлением: «Какую компенсацию?»* (женщина, 59 лет).

Таким образом, можно выделить два аспекта детравматизации памяти о политических репрессиях: социальный, который состоит в усвоении потомками репрессированных иной социальной идентичности, и дискурсивный темпоральный аспект, заключающийся в констатации необратимого изменения идентичности российского общества в целом и, как следствие, деактуализации прошлого.

Дискурсивный аспект культурной травмы обычно отождествляется с созданием её репрезентаций, специфичных для группы, основания социальной идентичности которой были разрушены травматическими событиями и заново создаются в процессе ренаррации. В советский период такую возможность имели эмигранты либо пережившие репрессии представители советской политической и культурной элиты. Социальный контекст, в котором создавались их коллективные нарративы, существенно отличался от ситуации, в которой оказывались в советском обществе представители групп, уничтоженных «как классы».

Можно выделить несколько способов нарративизации семейных травм, позволяющих вписать травматический опыт в советские или постсоветские коллективные нарративы. В контексте истории семьи эти модели могут использоваться одновременно.

1. Сублимация (преобразование травмы в «возвышенный исторический опыт» в контексте трансформации общества).

Некоторые респонденты настаивают на том, что пережитая их семьёй травма заключала в себе и собственную компенсацию, в том числе на символическом уровне. Завершение советского эксперимента даёт мало поводов опрошенным гово-

речь о нём в категориях «возвышенного исторического опыта» Ф. Анкерсмита, за исключением Второй мировой (Великой Отечественной) войны. Участие в войне, стоившее жизни более 10% населения Мордовии, упоминается в воспоминаниях респондентов, чьи родственники были призваны в армию или строили укрепления в Поволжье («Сурский рубеж»), не в качестве ещё одной травмы, а как предмет гордости и источник социального капитала семьи:

— Дед больше любил, например, помянуть период Великой Отечественной войны. Больше, как бы, вот это у него было. Но и особых, так сказать, переживаний по поводу того, что как бы, условно говоря, были раскулачены, я такого вот именно у него и у семьи, может, просто уже перегорело, переболело, не было отмечено. Просто по общению там с другими членами, говорят там некоторые — вот если бы этого не было, мы жили там как-то лучше, а тут именно такого отношения, именно какой-то такой яркой обиды на советскую власть не наблюдалось. Потому что с начала Великой Отечественной войны все братья добровольцами, кто добровольцем, кто по призыву, ушли на фронт. То есть без каких-то, условно говоря, никого не отлавливали по кустам, так сказать. Никто как бы не отлынивал никогда. Соответственно, если посмотреть условно так называемый иконостас, планки орденов, то все братья имели по медали «За отвагу», у дедушки было две, там у кого-то были, у кого-то посмертно, у кого-то нет, ордена Великой Отечественной войны и тому подобное. То есть все были представлены к каким-то наградам. Но никто из них не был офицерами, то есть так и оставались на, условно говоря, солдатских должностях (мужчина, 31 год).

Война упоминается в интервью как важный поворотный пункт семейной истории, после которого отношение к фронтовикам из числа раскулаченных и их семьям в обществе изменяется, происходит их примирение с советской властью, взаимная адаптация и усвоение советской идентичности взамен утраченной групповой. Эта трансформация в нарративах опрошенных служит примером преобразования социальной травмы в возвышенный исторический опыт, подобный вневременному опыту религиозных гонений.

2. *Мифологизация.* Под мифологизацией реальных событий мы вслед за Й. Рюзенем понимаем их дискурсивную трансформацию «в фактичность более высокого уровня (относящуюся к «фактам», произошедшим в священном мире)», в соотношении их с идеей «священного порядка».

Такое соотношение, например, имеет место в нарративе «религиозного виртуоза» — потомственного православного священника, излагающего историю своей семьи как историю гонений и мученичества представителей духовенства, которые, по мнению рассказчика, добровольно поехали вместе в ссылку и пострадали за своё пастырское служение:

— *Представляете, вот это вот добровольно, меня поразило, когда я об этом узнал. Вот люди добровольно пошли на Голгофу, скажем так. ... Они, собственно, какой-то был праздник, и после праздника они поехали, вот мой дед с семьёй поехали к своему отцу, прадеду. Отметить вместе праздник там, ну, а там так получилось, что вот, собственно говоря, и пришли, к прадеду пришли даже не арестовывать, в ссылку, то есть, выселять. И так там вроде получилось вот опять же из рассказов, это не документально, но я не думаю, что там есть смысл кому-то что-то придумывать: «А нам-то что делать как раз!» — «А вы откуда?» — «Ну, вот оттуда-то, оттуда-то». «Ну, езжайте к себе, там вас тоже заберут». — Ну как бы сейчас-то тоже вместе все, всё-таки вместе как-то легче, и соответственно, так они и пошли туда. Собрались, посадили в эшелон, вот, сколько там везли, невероятно там долго, до Казахстана, я так понимаю, люди на машинах в голую степь, Павлодарский, по-моему, край, село ... такое, значит, оно до сих пор там есть поселение, ... и там, где-то в 30 км от ... там пару барачков было в степи (мужчина, 57 лет).*

В семьях обычных верующих «мифологизирующая» установка проявляется в передаче из поколения в поколение рассказов о религиозном опыте божественного участия в судьбе семьи и её друзей или наказания виновников их бедствий. При этом людям, получившим божественную помощь, по мнению рассказчика, приписывается особая религиозная харизма, которая подчёркивается нарративизацией их опыта в контексте выхода за пределы знакомого респондентам мира повседнев-

ности в форме путешествия, добровольного или вынужденного – ссылки на Дальний Восток:

– *Со слов бабушки мама уже рассказывала, что она пошла где-то в этой тайге за водой, и по тропочке навстречу ей тигр идёт. Она очень верующий человек была, причём искренне верующий, даже каким-то даром обладала. Из детских моментов помню, что к ней люди приходили пошептать, так сказать. Она начала читать молитву «Живый в помощи» [псалом], и он вдруг отвернулся, ушёл. ... Ну, наверное, это была правда (мужчина, 59 лет).*

3. *Историзация.* Историзация, по выражению Й. Рюзена, «представляет собой культурную стратегию преодоления разрушительных последствий травмирующего опыта»³⁵ посредством его трансформации в предмет исторического анализа и обобщения:

– *Я боюсь, как бы это не послужило ещё большему разделению нашего общества. Мы и так, наше общество, я так думаю, к сожалению, не едино сейчас. Во-первых, социальное расслоение ужасное, да, вот, национальные тут признаки какие-то, плюс вот, конечно вот, социальное неравенство, оно порождает очень много, да плюс какое-то равнодушное отношение государства и той же Церкви, формализм. Мы не объединяемся, вы понимаете? И вот эти все, я понимаю, что это вот надо бы, но вчера вот я выступал. У нас в районе было мероприятие по тому поводу, по репрессиям, я говорю: вот мы не должны ни виноватых, ни правых искать, мы одни, мы едины, и не надо бичевать в этом смысле самих себя, что мы вот такие плохие, негодные, весь мир цивилизованный, он такой замечательный, а мы такие ужасные, понимаете. Да перестаньте, я вот говорю, давайте посмотрим историю той же Европы (мужчина, 57 лет).*

Как показало исследование, метаисторическая рефлексия, предполагающая включение травматического события в наиболее обобщённый нарратив, встречается в Мордовии в процессе осмысления и нарративизации травмы массовых репрессий на уровне как профессионального исторического, так и обыденного мышления. С такого рода обобщением

³⁵ Рюзен Й. Указ. соч. С. 56.

на рефлексивном уровне мы встретились в интервью с бывшей комсомольской активисткой, отметившей, как и ещё ряд опрошенных, непоследовательность государства, ожидающего от своих граждан предпринимательской активности, из-за которой были репрессированы и погибли в заключении её прародители.

Осмыслить эту семейную трагедию ей помогла публицистика периода перестройки, в которой неправовой характер и враждебное отношение к гражданскому обществу приписывались в качестве неизменных черт российской государственности как в советский, так и в дореволюционный период. Примечательно, что эту идею она выражает с помощью отсылки к советскому фильму о первых российских революционерах и невозможности диалога между властью и интеллигенцией:

— *Вчера смотрю: «Звезда пленительного счастья», декабристы, и вот, значит, Николай I. Он Пестелю говорит [в фильме другому персонажу]: вот хочешь я тебя освобожу, и всё прочее, прочее. Он говорит, так я в заговоре, и все мы участвовали для того, чтобы люди моей страны жили по законам, а не по вашему желанию, вот вы захотели — нас освободили, у вас настроение хорошее, не захотели — вы нас посадили, повесили. А мне очень хочется, чтобы наши люди моей страны жили по законам, просто по законам, которые вот для людей. Двести лет прошло почти... Я очень надеюсь, что всё-таки мы будем жить по законам, защищающим только общечеловеческие ценности, а не чью-то кандидатуру какую-то политическую* (женщина, 62 года).

Несмотря на последнюю фразу, двести лет безуспешных попыток демократизации российской политической системы оставляют мало надежд на их реализацию в течение её жизни. В то же время очевидно, что при таком подходе невозможно «проработать» прошлое, сведя его к осуждению сталинских репрессий или революции — одному ключевому событию, последствия которого требуется устранить.

Как можно констатировать, проработка опыта массовых политических репрессий в семьях их жертв включает социальный аспект в форме адаптации к советской системе и смены идентификационного репертуара в нескольких поколениях в контексте трансформаций сообществ, к которым они при-

надлежали, и дискурсивные модели детравматизации, нейтрализующие семейный травматический опыт посредством его трансформации в возвышенный исторический опыт, мифологизации или историзации в различных формах.

Таким образом, доминирующая социальная модель проработки травмы репрессий в Мордовии в советский период заключалась в усвоении членами семьи новой социальной идентификации взамен утраченной наряду с декомпозицией и радикальными изменениями в местном и региональном сообществах. Для потомков раскулаченных крестьян такая проработка могла сопровождаться «диалогическим забвением» травматических событий в местном сообществе либо обсуждением в модальности оправдания/обвинения конкретных жертв. Содержание примирительного нарратива сводилось к принципиальному осуждению факта репрессий (в советский период — в отношении конкретных людей, в постсоветский — в отношении всех жертв в данной социальной категории) наряду с «диалогическим забвением» виновников репрессий, без артикуляции требований к конкретным людям, группам или институтам. Такая модель оставляет уже в постсоветскую эпоху очень мало предпосылок для реактуализации травмы массовых репрессий в качестве объекта общественной дискуссии и политических реформ.

ГЛАВА 3.

Память о Гражданской войне в казачьем возрождении юга России в конце XX – начале XXI века

В возрождении казачества в конце XX – начале XXI века память социальной общности играла большую роль: так сама логика возрожденческого процесса предусматривала обращение к истории и традициям прошлого казачества. Важное место в структуре исторической памяти данной социальной общности занимают Гражданская война и связанные с ней события. Рассмотрение практик мемориализации, связанных с Гражданской войной, сюжеты и формат трансляции исторической памяти позволяют говорить о том, что она до сих пор остаётся «горячей».

История казачества, как социальной общности в широком её понимании, в советский период содержит немало трагичных сюжетов. Они связаны, прежде всего, с Гражданской войной и установлением советской власти. Особенностью последствий данных процессов было то, что они распространялись именно на всю социальную общность, могли иметь характерные черты геноцида, как в случае с репрессиями на Дону в 1919 году, либо стратоцида, когда речь шла об уничтожении социальных (сословных) особенностей казачества. Но они всегда влекли за собой вполне ощутимые физические и морально-психологические страдания населения (гибель людей, выселения, тюремные заключения, ссылки и т. п.).

Настороженное, а подчас и открыто неприязненное отношение власти к казакам, проведение в отношении них периодически репрессивной политики в 1920–1930-х годах были обусловлены социальными особенностями казачества, а также их участием в Гражданской войне. Как военно-служилое сословие, казаки в Российской империи, в границах своих территориально-административных единиц – войск, имели привилегии и льготы социально-экономического характера. В имперский период казаков позиционировали как защитников царя и отечества, во время революционных событий

1905–1907 годов и позже казаков стали привлекать к разгону антиправительственных демонстраций и наведению порядка в столице и крупных городах. В итоге это привело к формированию образа «казака-нагаечника», «душителя свободы и революции». Этот образ впоследствии большевики нередко культивировали, формируя негативное отношение к казачеству в обществе.

В период Гражданской войны казачество, практически во всех частях страны, в том числе на юге России, выступило сплочённо против большевиков. Как следствие этого, несмотря на утверждение новой власти о классовом подходе к казачеству, при проведении политических кампаний предпринимались те или иные меры к казакам вообще всем, без социально-классового разделения. Наиболее яркий пример этого – события в верхнедонских станицах, последовавшие после выхода 24 января 1919 года Циркулярного письма Оргбюро ЦК РКП(б), в котором определялась политика по отношению к казачеству. Несмотря на то что в письме речь шла о дифференцированном подходе при проведении террора, реализация его установок привела к расправам над всем вообще населением в ряде станиц Верхнего Дона³⁶. Впоследствии, уже в период казачьего возрождения в конце XX – начале XXI века, фраза из положения письма «провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно» воспринималась как характеристика отношения большевиков ко всем казакам.

В периоды обострения внутривнутриполитической обстановки в стране и роста социальных конфликтов, как-то: кризис хлебозаготовок в 1927–1928 годах, «военная тревога» 1927 года, проведение мероприятий по раскулачиванию 1930 года, Большой террор 1937 года, принадлежность к белому казачеству, с точки зрения ОГПУ, могла расцениваться как отягчающая вину характеристика. В анкетах подозреваемых в преступлениях при проведении следствия органами ОГПУ часто присутствовало уточнение – на чьей стороне воевал казак. Особое внимание уделялось участию подозреваемого в расправе над

³⁶ Трут В. П. Истребить поголовно. Как организовать расказачивание // Родина. 2004. № 5. С. 96.

отрядом красных казаков под руководством Ф. Г. Подтёлкова и М. В. Кривошлыкова.

В период проведения коллективизации, сопровождавшейся мероприятиями ликвидации кулачества как класса, был издан Приказ ОГПУ, определявший порядок их проведения. В приказе выделялись категории кулаков. Наиболее опасной для власти считалась 1-я категория, включавшая в себя активных белогвардейцев, повстанцев, бывших бандитов, бывших белых офицеров, репатриантов и т. д.³⁷ В казачьей среде присутствовали все перечисленные категории, и с конца 1920-х годов они брались на учёт ОГПУ в районах проживания казачества. Все мероприятия и кампании подобного рода, в ходе проведения которых так или иначе страдало население казачьих районов, формировали у данной социальной общности представление о том, что это происходит потому, что они казаки. Таким образом, память формировала представление о страданиях казачества как единой общности.

Сейчас судить о том, как историческая память о страданиях транслировалась в советский период, сложно из-за отрывочности информации об этом. Есть довольно устойчивый общественный стереотип о «скрываемой памяти». Можно часто слышать, что из-за гонений на казачество в 1920–1930-х годах, разного рода запретов в отношении их культурных традиций (очень устойчивым является мнение, что мужчинам в казачьих районах юга России запрещено было носить лампасы, как символическую принадлежность к казачеству) из повседневной жизни казачьей семьи была исключена память о трагедии рассказывания и в целом о событиях Гражданской войны. Конечно, феномен такой скрываемой семейной памяти имеет гораздо более сложную структуру, однако можно с уверенностью сказать, что Гражданская война, и особенно раскулачивание, не были широко транслируемыми сюжетами, но очень важными для казаков.

³⁷ Приказ ОГПУ № 44/21 от 02.02.1930 «О мероприятиях по ликвидации кулачества как класса» // Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. Т. 2. Ноябрь 1929 – декабрь 1930. Москва : РОССПЭН, 2000. С. 163–167.

Известный ростовский историк А. В. Венков в историческом исследовании Вешенского восстания вспоминал о выступлении К. Приймы, известного шолоховеда, перед жителями станицы Вешенской в конце 1970-х годов. Вот как он описывал сцену, когда К. Прийма начал рассказ о вешенском восстании 1919 года: «И тогда Прийма стал рассказывать о восстании, о двадцать восьмом полку, о Харлампии Ермакове, о попытках начать переговоры, о стрельбе по парламентам... Испуганная звенящая тишина установилась вдруг в зале. То, о чём отрывочно, и обычно подвыпив, позволяли себе говорить редкие уцелевшие деды... вдруг полилось со школьной сцены... «Казачи вынуждены были начать восстание!..» Вынуждены! «Да так оно и было!» — горело у всех в глазах³⁸. Венков отмечал, что казаки, слушавшие К. Прийму, смотрели на него так, словно он их реабилитировал и восстанавливал в каких-то правах³⁹.

В работе А. В. Венкова «Печать сурового исхода», опубликованной в 1988 году, множество описаний того, как казаки вспоминали Гражданскую войну и установление советской власти в 1960–1970-х годах. Всегда присутствовало в них определённое умолчание, недосказанность. Но всё же об этом говорили, и значимость этих разговоров для людей автор отчётливо показывает: «Баловаться нельзя. Идёт разговор. О чём? Бабушка с сестрой не виделись с 33-го по 59-й год. Об этом времени в основном и говорилось. О коллективизации, о «саботаже», о последней войне... Помню общий тон. Беды и несчастья воспринимались как должное. Как испытание на стойкость»⁴⁰.

До 1980-х годов рассказы о Гражданской войне и участии казаков в ней, равно как и о других событиях, были под негласным запретом. Причина была как в том, что такие рассказы не приветствовались властью, так и в том, что Гражданская война разделила казачество на белых и красных. И хотя белых каза-

³⁸ Венков А. В. Печать сурового исхода. К истории событий 1919 года на Вешнем Дону. Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1988. С. 9.

³⁹ Там же.

⁴⁰ Там же. С. 73.

ков было значительно больше, но разделение проходило часто по семьям. Отсюда память семьи становилась разделённой. В основном транслировалась официальная версия событий Гражданской войны, победы красных.

В целом такая мемориальная практика имеет закономерный характер. Коммеморация Гражданской войны – это прерогатива победителя. Опыт России и других стран показывает, что объекты мемориализации и места памяти определяет и конструирует победившая сторона. В Гражданской войне в России победили красные. Они и сформулировали основные принципы и темы мемориальной политики. В России было воздвигнуто немало памятников «красного пантеона». В большинстве городов и посёлков в топонимические системы были внесены имена красных героев. Проигравшая сторона имела возможность осуществлять свою версию мемориализации Гражданской войны только вне России.

Казачество в основном поддержало белых. Таким образом, оно было лишено возможности формировать собственную публичную коммеморацию. Однако она осуществлялась в рамках проведения идеологической кампании по созданию советского казачества. Ещё в конце 1920–1930-х годов в соответствии с формируемой политикой памяти об участии казачества в Гражданской войне создаются две сюжетные линии. Первая – создание образов красных казаков – пострадавших за идеалы революции. Наиболее известными стали образы Ф. Г. Поделкова, председателя донского казачьего ВРК, и М. В. Кривошлыкова.

Формирование памяти включало в себя создание патристического мифа, исторического нарратива соответствующего содержания, поэм-былин, песен, а также установка памятников и переименование улиц населённых пунктов в честь этих красных казаков:

- Имя Подтёлкова носит улица в городе Каменске-Шахтинском, а перед зданием городского краеведческого музея ему и Михаилу Кривошлыкову установлен памятник.
- Памятник Кривошлыкову и Подтёлкову установлен в городе Новочеркасске.
- В г. Серафимовиче одна из улиц носит имя Подтёлкова, а перед зданием Серафимовичского техникума механизации

сельского хозяйства установлен его бюст. Улица Подтёлкова есть в городах Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай, Шахты, Новоаннинский (Волгоградская область), в станице Вешенской.

- Также есть улица Подтёлковская в городе Пролетарске, улица Подтёлкова в городах Белая Калитва и Донецк Ростовской области.
- С 1960 по 1994 год в Волгоградской области существовал Подтёлковский район, впоследствии вошедший в состав Кумылженского.

Масса песен и поэм была создана для увековечивания роли С. М. Будённого (командующий Первой конной армией). Его имя тесно связали с казачеством, хотя по происхождению Будённый был из иногородних крестьян Донской области.

Вторая — раскаяние казаков в своём противостоянии с красными и трансформация их в истинно советских граждан. Эти образы часто встречаются на страницах газет юга России, особенно в период кампании «за советское казачество». Однако в послевоенные годы и этот нарратив постепенно уходит. В 1950—1970-х годах о казаках как участниках событий Гражданской войны преимущественно говорится в контексте формирования красной кавалерии на юге России — Первой и Второй конных армий.

С середины 1980-х годов под воздействием социально-политических процессов в СССР меняется и конъюнктура тем. Проблематика Февральской и Октябрьской революций и Гражданской войны расширяется, многие сюжеты выходят из-под запрета. В самом обществе запущенный процесс гласности способствует актуализации памяти о событиях, которые ранее находились в зоне умолчания. Так, один из активных участников возрождения астраханского казачества В. Л. Торопицын в интервью автору рассказывал, что он узнал о своих казачьих корнях только в 1980-х годах из рассказов матери. Она же поведала ему, что дед винтовку, шашку и награды выбросил в Волгу (очевидно, чтобы скрыть казачью принадлежность)⁴¹.

⁴¹ Интервью с В. Л. Торопицыным. Личный архив автора, 2012 г.

С началом возрождения тема памяти становится актуальной и востребованной. Её активно продвигали лидеры казачьего возрождения, формируя политику памяти возрожденческого движения, она живо интересовала жителей казачьих регионов и тех, кто уехал, но сохранил память о казачьих корнях. Люди охотно откликнулись и участвовали в коммеморативном процессе. Так, например, активный участник казачьего возрождения на Кубани А. Г. Бурмагин описал ситуацию его обращения к казакам, жителям Кубани, через районные газеты с просьбой прислать материал для подготовки экспозиции выставки «Кубань – 20–30-е годы. Страницы истории». В ответ на это стали приходить письма от казаков и казачек с воспоминаниями о тех годах⁴².

В начале 1990-х годов начали действовать общественные организации и энтузиасты, которые целенаправленно занимались восстановлением памяти об исторических личностях периода Гражданской войны, по разным причинам забытых в период советской власти. Примером такой коммеморативной практики в Краснодарском крае можно назвать историю уроженца станицы Келермесской Кубанского казачьего войска В. М. Ткачёва, военного лётчика, участника Первой мировой войны, георгиевского кавалера, а также участника Гражданской войны на стороне белых. Инициатором работы по восстановлению и увековечиванию его памяти стал А. Г. Бурмагин, к нему подключились краеведы и казаки. В честь В. М. Ткачёва была установлена мемориальная доска на одном из домов и названа одна из улиц Краснодара⁴³. По информации военного обозрения, на открытие мемориальной доски прибыл тогдашний главком авиации России П. С. Дейнекин, а во время церемонии в небо поднялась авиационная группа «Русские витязи»⁴⁴.

⁴² Бурмагин А. Г. От Кубанского казачьего клуба к кубанской казачьей Раде. Краткая история начала возрождения кубанского казачества 1989–1992 гг. Краснодар : ООО фирма «Пульс-Софт», 2009. С. 38.

⁴³ Там же. С. 40.

⁴⁴ Кондратьев В. Белый авиадарм генерал авиации Вячеслав Матвеевич Ткачёв // Военное обозрение : [сайт]. 14 декабря 2012 г. URL: <https://topwar.ru/22053-belyy-aviadarm-general-aviacii-vyacheslav-matveevich-tkachev.html> (дата обращения: 20.04.2022).

В Ростове-на-Дону в это время действовал клуб «Думенковцы-Мироновцы». Члены клуба вели активную деятельность по реабилитации и восстановлению исторической памяти в отношении известного казачьего деятеля периода Гражданской войны, командующего Второй конной армией Ф. К. Миронова, а также одного из организаторов Красной конницы, уроженца Донской области Б. М. Думенко. Оба они были репрессированы в 1920–1921 годах. Руководитель клуба И. Г. Войтов способствовал установлению у хутора Казачий в Ростовской области в 1988 году памятника Б. М. Думенко. В интервью газете «Молот» (1990) И. Г. Войтов так определил характер своей деятельности: «Эту работу мы рассматривали и рассматриваем как важную составляющую часть движения за собственное духовное возрождение, за реабилитацию всех расказаченных, раскрестьяненных, расчеловеченных предков наших...»⁴⁵.

Вместе с созидательно-примирительной работой в сфере коммеморации Гражданской войны была деятельность по реализации исторического забвения. Это касалось, прежде всего, тех исторических деятелей, которые в глазах современного казачества выступали авторами и исполнителями репрессивной политики большевиков в отношении казачества. В качестве примера можно привести деятельность кубанского казачьего клуба имени А. Ф. Бурсака, на заседаниях которого обсуждались вопросы, связанные с необходимостью демонтажа памятника Свердлову на улице Шаумяна в Краснодаре (предлагали даже провести акцию возложения венков к памятнику с надписью: «Палачу Кубани») ⁴⁶, переименование улицы Свердлова, проведение акций по вопросу признания репрессий в отношении казачества — так, одной из первых таких акций был митинг, посвящённый памяти жертв расказачивания, которую участники клуба провели вместе с представителями правозащитных организаций в Краснодаре ⁴⁷. О необходимости

⁴⁵ *Озеров А. А.* Возрождение казачества в новой России. (Социально-философский аспект) / А. А. Озеров, А. Г. Киблицкий. Ростов н/Д : ООО «Ростгиздат», 2004. С. 28.

⁴⁶ *Бурмагин А. Г.* Указ. соч. С. 74.

⁴⁷ Там же. С. 79.

переименования улицы Землячки, видной партийной деятельницы, известной также как одна из организаторов красного террора в Крыму, неоднократно в 1990-х годах выступали казаки Волгограда.

С формированием и развитием казачьих организаций политика памяти в отношении событий Гражданской войны становится более определённой и чёткой. Её центральной идеей становится восстановление исторической правды о казачестве, трактуемой достаточно широко. Так, в Уставе Союза казаков области войска Донского (СКОВД) это положение подразумевало показ роли казачества в создании России, а также широкое информирование общественности о рассказывании, поминовении жертв геноцида и увековечивание их памяти⁴⁸. В Уложении (Уставе) терского казачества 1991 года в перечне задач значилось восстановление исторической правды о казачестве и его статусе, включение казачества в государственный закон как репрессированного народа, возвращение казакам их попраных прав, требование к правительству дать политическую оценку деятельности организаторов геноцида качества⁴⁹. О задаче восстановления исторической правды о казачестве говорилось и в Уставе Кубанской казачьей Рады⁵⁰. В документах многих создаваемых в начале 1990-х годов казачьих организаций в качестве уставных задач деятельности фигурировало положение о восстановлении исторической правды, справедливости, осуждении геноцида казачества, о поминовении жертв геноцида и увековечивании их памяти. Тема репрессий и связанная с ней тема восстановления справедливости играла ключевую роль.

Можно сказать, что в документах казачьих организаций в первой половине 1990-х годов тема памяти играет ключевую роль, и в рамках этой памяти значительное место отводи-

⁴⁸ Устав Союза казаков области войска Донского // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 10144. Оп. 1. Д. 6, 6.

⁴⁹ Уложение терского казачества // ГАРФ. Ф. 10144. Оп. 1. Д. 6, 173.

⁵⁰ Основные принципы и направления деятельности Кубанской казачьей Рады // Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-1843. Оп. 1. Д. 2, 81.

лось теме памяти-травмы. В «Декларации казачеств России», принятой Союзом казаков в 1990 году, по этому поводу говорится следующее: «Трагически сложилась судьба казаков в послереволюционные годы. ... Станичники сотнями и тысячами вырезались, расказачивались, выселялись за Урал, вынуждены были покидать Отечество. После Гражданской войны многие казачьи области декретами Совета Народных Комиссаров были незаконно оторваны от России и переданы в состав других республик и автономных образований. ... Истребление казаков и лишение народа своей исторической родины, начатые в 1918 году, продолжались в 30–40-е годы... Мы требуем отмены всех преступных актов, направленных против казачества»⁵¹.

На первом учредительном съезде донского казачества в 1990 году принимается резолюция «О гражданской и политической реабилитации казачества», которая начиналась словами: «Немного найдётся на земле народов и народностей, в отношении которых была применена тактика поголовного уничтожения. Но именно такова участь патриотического авангарда русского народа — донского казачества». Заканчивалась резолюция требованием гражданской и политической реабилитации казачества: «К этому вызывает память безвинно убиенных, вызывает и справедливость, долг перед прошлым и грядущим поколением казаков»⁵².

С констатации факта репрессивной политики в отношении казачества, с перечисления всех потерь начинается документ, освещающий направления деятельности Кубанской казачьей Рады, принятый на Всекубанском казачьем съезде в 1990 году: «Расказачивание, раскулачивание, волюнтаристский передел исторических казачьих территорий, отмена демократического казачьего самоуправления, массовые переселения... лишили кубанских казаков этнической самобытности, связи с землёй, историей, богатейшей культурой пред-

⁵¹ *Озеров А. А.* Декларация казачества России. Принята Советом Атаманов Союза казаков 30 ноября 1990 года // Указ. соч. С. 274–276.

⁵² *Водолацкий В. П.* Возрождение: первый круг казаков Дона / В. П. Водолацкий, А. А. Озеров, А. Г. Киблицкий. Ростов-на-Дону : ИИЦ «Дончак», 2006. С. 70–71.

ков, экономически закрепостило их ... поставило казачество на грань исчезновения...»⁵³.

Именно казацьи общества стали основными мемориальными акторами Гражданской войны и других трагических событий советского периода XX века. Центральной датой коммеморации можно считать 24 января 1919 года. Несмотря на то что в казацких войсках есть свои локальные истории и сюжеты репрессий и гонений на казаков, эта дата является общей для всех казаков, по крайней мере юга России, и символизирует начало трагедии казачества в советский период. Дата 24 января рассматривалась как день поминовения казаков, в настоящее время он начинается со службы в церквях, с крестных ходов, возложения цветов к памятникам соответствующего характера и тематики. С развитием интернета и социальных сетей изменился формат торжественных действий. Ряд их был перенесён в сеть интернет, с выкладыванием соответствующих постов и иллюстраций по данной теме. Официальное (реестровое) казачество активно поддерживает мемориальные события, проводимые в этот день, участвуя в молебнах и проводя конференции и круглые столы с привлечением как членов казацких обществ, так и специалистов по истории, краеведов.

Общественные казацьи организации также отмечают эту дату как траурную. Мемориальный формат представляет собой популяризацию материалов о жертвах казаков в период Гражданской войны: документальные материалы и посты в интернет-сообществах, визуальные материалы. Отличительной особенностью здесь может быть более жёсткая характеристика событий Гражданской войны как войны на уничтожение казаков. Однако следует отметить, что использование понятия «геноцид казаков» присуще практически всем организованным казацким сообществам, как реестровым, так и нереестровым.

В обращении к тематике репрессий и трагедии Гражданской войны, в резкой фокусировке исторической памяти потомков казаков на нанесённых сообществу обидах советской

⁵³ Основные принципы и направления деятельности Кубанской казачьей Рады... С. 73.

властью проявилось то, что исследователи называют «раненой памятью». Работа «раненой памяти» проявляется в отборе событий и исторических сюжетов, закрепляющих образ жертвы. В сфере «раненой памяти» казачества выделяются несколько основных направлений такой работы.

Во-первых, это Гражданская война, жертвы казачества в ней. В 1990 году к празднованию 420-летия станицы Старочеркасской был приурочен Первый Всероссийский конный поход «Во славу Отечества». В походе приняли участие донские, кубанские, терские, амурские казаки, униформированные по образцу 1914 года. Их восприняли как «белых казаков», и в описании людей, причастных к тем событиям, «...это вызвало шок у Ростовского обкома КПСС и у общественности города...». У здания библиотеки Ростовского университета, где располагался в 1918 году штаб Добровольческой армии Деникина, участники похода склонили знамёна и почтили минутой молчания всех погибших в Гражданской войне. Здесь был впервые продемонстрирован Акт гражданского согласия и отданы почести «белой» стороне данной трагедии.

О важности выработки отношения к событиям Гражданской войны свидетельствует тот факт, что в 1990 году на первом Совете атаманов, созданном только что организованным Союзом казаков, его участники постановили «считать Гражданскую войну для казачества оконченной, деление казаков на «красных» и «белых» – преступным».

Второе направление работы «раненой памяти» – трагедия эмиграции. Наиболее часто освещаемые события – трагедия казаков и белой армии на острове Лемнос и в Галлиполи. Церемонии и другие торжественные мероприятия, как правило, были приурочены к открытию мемориалов памяти, обусловлены желанием почтить память казаков, умерших на чужбине. Здесь ярко репрезентируется тема «потерянной Родины». Эта тема довольно часто использовалась в качестве центральной идеи тех или иных торжественных мероприятий. В 2008 году в одно большое праздничное действо были соединены несколько мероприятий: 255-летие атамана Платова, Третий Всемирный конгресс казаков и Большой отчётно-перевыборный круг ВКО «ВВД», праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В числе них был Войско-

вой литературно-музыкальный фестиваль имени известного казачьего поэта-эмигранта Н. Н. Туроверова «Я вернулся на Дон...», посвящённый памяти казачьих поэтов зарубежья.

Тема истории эмиграции, казачьего зарубежья хотя и связана с темой Гражданской войны, но в отличие от неё менее противоречива. Она в большей степени позволяет в ярких образах презентовать тему патриотизма, любви к отвергшей своих детей, но всё же любимой Родине, то есть создавать привлекательный образ казаков-патриотов.

Несмотря на важность Гражданской войны для памяти казачества, в отношении этого события не сложилось широкой коммеморативной практики. Если к данной теме часто обращались в начале 1990-х годов, то затем она постепенно сходилась на нет и выводилась из сферы публичной истории казаков. Причиной этому стали, прежде всего, общая ситуация снижения интереса к Гражданской войне, выведение её за рамки политики памяти в России вообще. Другая серьёзная причина — противоречивые и «неудобные» мнемонические объекты. Так, например, несмотря на широкую известность Ф. К. Миронова, широкой коммеморативной практики в отношении него не сложилось. Имя Миронова было очень популярным в 1980-х годах, однако мемориальный бум вокруг него стал угасать в 1990-е. По оценке А. В. Венкова, популярность этого самого известного лидера красных казаков на Дону тихо угасла после того, как возрождение приняло явно антисоветскую окраску⁵⁴.

В истории Гражданской войны на юге России с участием казачества есть целый ряд исторических фигур, которые можно назвать «неудобными» и даже запрещёнными для официальной коммеморации. Это прежде всего те, кто, находясь в эмиграции, сотрудничал с нацистской Германией. Речь идёт о казаках-коллаборантах Второй мировой войны. В результате освещение роли в Гражданской войне таких исторических фигур, как П. Н. Краснов, А. Г. Шкуро, В. Г. Науменко и др., ока-

⁵⁴ Венков А. В. «Трижды окружённый и разбитый наголову» Филипп Миронов // Донской временник. 2012. Вып. 21. С. 236–241. URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m6/0/art.aspx?art_id=1248 (дата обращения: 20.04.2022).

залось под запретом. Политический подтекст и морально-этическая оценка коллаборационизма оказали сильное влияние на восприятие событий Гражданской войны. На сегодняшний день имя атамана П. Н. Краснова фактически табуировано для официального исторического нарратива. Попытки как-то отметить деятельность этого атамана в период Гражданской войны в рамках публичных мемориальных действий имеют сильный конфликтный потенциал.

Так, мемориал памяти жертвам антибольшевистской борьбы в станице Еланской, центральной фигурой которого является исполненная в полный рост статуя атамана П. Н. Краснова, периодически становился центром пристального внимания со стороны властей, долгое время предпринимавших попытки тем или иным способом закрыть этот музейно-мемориальный комплекс.

Вместе с тем, цель создания данного мемориала (который является частным музеем), по заявлению его создателя В. П. Мелихова: «...осознание прошедшей эпохи, выявление в ней истинных героев и мнимых, увековечивание в будущих поколениях памяти тех, кто, не лукавя и осознавая свою ответственность перед Отечеством, защищал его до последнего вздоха»⁵⁵.

Следует отметить, в других случаях, когда речь идёт о казаках — героях Гражданской войны, не запятнавших себя связями с нацистами, мемориальная практика поддерживается и со стороны казачьего движения, и со стороны власти. Например, в Оренбурге в память об атамане Оренбургского казачьего войска А. И. Дутове, активном участнике Гражданской войны, в 2012 году установили мемориальную доску на одной из улиц. Более того, при поддержке областной власти проводятся поиски останков А. И. Дутова, погибшего и похороненного в Китае, с целью перезахоронения на родине⁵⁶.

⁵⁵ Мелихов В. П. Слово о целях мемориала. URL: https://elan-kazak.org/?page_id=4055 (дата обращения: 12.07.2018).

⁵⁶ В Оренбурге совет атаманов казачьих обществ обсудил перезахоронение останков атамана Дутова // ВестиРАМА.РУ : [сайт]. 14 июля 2017. URL: <http://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/ataman-dutov140717.html> (дата обращения: 20.04.2022).

Отрывочно представлена история Гражданской войны на казачьих территориях и в музейных экспозициях. Здесь, в целом, всегда был политизированный подход, и в советский период в основном была представлена история красного казачества, которая являлась даже не историей собственно казачества, а историей борьбы большевиков за Советскую власть. Наиболее крупным советским музейным комплексом по данной тематике на юге России можно назвать Мемориально-исторический музей в Волгограде. Впервые музей был открыт 3 января 1937 года как Музей обороны Царицына имени товарища Сталина. Ведущая тема музея – история Гражданской войны 1917–1920 годов на юге России: в районе Царицына и на Дону⁵⁷. Немалую долю музейной экспозиции составляют материалы об обороне красного Царицына от белоказачков в 1918 году. В 1990-е годы в музее активно разрабатывалась тема белой эмиграции, была создана экспозиция по данной теме.

Однако самыми на сегодняшний день крупными музейными комплексами, с богатой экспозицией вещей, документов, оружия, фотографий, плакатов, являются мемориально-исторический комплекс «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской Ростовской области и музей, посвящённый истории казачества и антибольшевистскому сопротивлению в Подольске. Оба музейных комплекса – частные и были открыты на личные средства В. П. Мелихова. Наиболее негативную реакцию как со стороны власти, так и со стороны общества вызывают музейные коллекции, связанные с историей коллаборационизма.

Таким образом, на сегодняшний день на юге России нет такого музея, где подробно и непредвзято была бы освещена история казачества в период Гражданской войны, что свидетельствует о неоднозначном увековечивании памятных событий этого исторического периода в коммеморативной политике российской власти.

⁵⁷ Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»: официальный сайт. Волгоград. 2022. URL: http://www.stalingrad-battle.ru/?Itemid=14&id=68&option=com_content&view=article (дата обращения: 20.04.2022).

Тем не менее, публичная и признаваемая властью практика мемориализации трагедии казачества в период Гражданской войны всё же существует. Самым удачным её примером является открытие памятника «Примирения и согласия» в Новочеркасске в 2005 году. Важнейшая транслируемая идея памятника – общая трагедия народа и примирение белых и красных. Символично, что памятник установлен рядом с Войсковым кафедральным собором в Новочеркасске.

Подводя итог обзору мемориальных практик в отношении памяти-травмы казачества, сформировавшейся под влиянием событий Гражданской войны и других трагических событий 1920–1930-х годов, можно выделить следующие важные моменты. Память-травма, сформировавшись в период Гражданской войны и установления советской власти в казачьих районах, сохранялась в социальной общности казаков на протяжении всего советского периода. Её транслирование в семьях и передача следующим поколениям на сегодняшний день не изучены, однако выявленная информация об этом позволяет сделать вывод о наличии и передаче этой травмы в казачьем сообществе. Прямым фактом, подтверждающим данный тезис, является то, что именно память о трагедии и желание восстановить справедливость стали одним из факторов казачьего возрождения в конце XX – начале XXI века.

Активными акторами продвижения памяти о трагедии в этот период стали участники казачьего возрождения. Организованные в общества казаки получили возможность целенаправленной трансляции этой памяти как социальной общности, так и власти. Вместе с тем коммеморативной стратегии в казачьем возрождении не сложилось. Внутренняя конфликтность памяти о Гражданской войне существенно снижает возможность её широкой трансляции сегодня, а значит, и преодоления этого трудного прошлого.

РАЗДЕЛ II.

Советский опыт преодоления травмы

ГЛАВА 4.

Культурная травма глазами верующих: преодоление травматического синдрома

Cultural trauma through the eyes of believers: overcoming traumatic syndrome

Humanity's experience of the recent centuries can be clearly interpreted as traumatic. This does not mean that during this time the number of disasters and catastrophes has increased. Rather, we can say that trauma as an integral phenomenon in the life of an individual and a group has come into the focus of public and academic attention. Phenomena once judged through the lens of usefulness or harm to society are now examined through the lens of the life of the individual. The traumatic is now also seen as a result of a specific social construct, as a way of describing the relationship between a subject and a social institution.

For all the complexity of the phenomenon of trauma as an object of research attention, there is a clear perception of its negative element on social life, since the latter directly requires experiencing and overcoming traumatic experiences. In the past few decades, psychological support services in the post-Soviet regions remained underdeveloped, yet we should note the work that has been done, which was aimed at helping the individual not only to moderate, but also to transform negative emotions, turning trauma into an advantage.

In this regard, of particular interest are the ways in which various religions interpret a traumatic event. Even Karl Marx wrote that religion is “the opium for the people”, a kind of pain reliever that allows you to reduce painful psychological sensations, to reconcile with what happened. Almost all sociological studies conducted on the territory of the Russian Federation, since 1990, have confirmed

that religious people are less inclined to complain about the circumstances of their lives, or to look for the “guilty” and seek revenge on them.⁵⁸

This means that in the view of representatives of various faiths, there are certain practices of dealing with trauma, which are pre-determined by the specifics of a given religion. To examine the mechanism of dealing with the believers’ traumatic experience and the peculiarities of overcoming trauma in different religious communities, the authors of the article decided to turn to representatives of those religious communities that experienced the negative impact of the Soviet atheistic policy.

Our attention will be focused on representatives of the Evangelical Churches, which continued to exist as unregistered religious groups. These religious communities were not only subjected to pressure from the state authorities, but also experienced additional difficulties due to the cult practices prevailing within the communities and the peculiarities of the believers’ attitudes towards the outside world. The repudiation of official registration and cooperation with the authorities among the Evangelicals, and the popularity of their unofficial structures were perceived by the state as a potential threat to the successful spread of Soviet ideology. In part, this was the reason for the next wave of persecution under Nikita Khrushchev, which led to the disruption of the established rhythm of religious life in the post-war USSR.

The Resolution On major shortcomings in scientific atheistic propaganda and necessary corrective measures (July 1954) not only marked the rise of everyday religiosity, but also set the task of countering this perceived threat. An exception was made for the Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, which, according to the decree of the USSR Council of Ministers On changing the procedure for opening prayer buildings (February 1956), was given the right to register communities that were already acting unofficially. The decree also required the mandatory registration of all existing communities that had ministers and a specific place to conduct services. These requirements fundamentally worsened the status of

⁵⁸ *Писманик М. Г.* Религиоведческие размышления // Религиоведение. 2006. № 3. С. 189–199.

unregistered groups. The decree On strengthening control over the implementation of legislation on cults (March 1961) defined some of the Evangelical Christian groups – the doctrine and nature of the activities of which had an anti-state character – as sects. This particularly affected the “Initiative Group” that split from the Council of Evangelical Christians-Baptists in 1960 and the “unregistered” Pentecostals, who refused to unite with the Baptists. The peculiar legal status of both Churches led to the widespread practice of dispersing prayer meetings, the confiscation of religious literature, the criminal prosecution and restrictions on education and charitable work. These oppressive measures were supported by the new Criminal Code and decrees of the Presidium of the RSFSR Supreme Soviet Council of 1966 On Administrative Responsibility for Violation of Legislation on Religious Cults, On Amendments to Article 142 of the RSFSR Criminal Code and On the Application of Article 142 of the RSFSR Criminal Code.

The enforcement of all these measures did not, in fact, block the activities of the Evangelical Churches, giving them new viability, and even leading to the increase in number of their adherents. It is this circumstance that prompted us to formulate the following research question: what are the protective mechanisms of the Evangelical worldview, which allowed them to minimize the consequences of the resulting cultural trauma.

The base of our research hypothesis is the idea that special compensatory mechanisms are at work within the boundaries of the religious worldview. They are able to either aid in the process of experiencing trauma or change the individual’s assessment of the traumatic event as it is. We admit that the concept of reconciliation as a way to cope with the consequences of trauma⁵⁹ may turn out to be inaccurate, especially when the object of our attention is the experience in a specific and highly peculiar system of worldview coordinates. Reconciliation as a psychological process presumes an initial conflict or a feeling of injustice towards the victims. In the course of internal functioning, these sensations are repeatedly passed through

⁵⁹ *Омельченко Е. Л.* Что остаётся в семейной истории: память о советском сквозь разговор трёх поколений / Е. Л. Омельченко, Ю. А. Андреева // Социологические исследования. 2017. № 11 (403). С. 147–156.

the feeling of the individual, becoming a familiar part of his or her life experience. As a result, the negative experience is perceived as a necessary reality that cannot be changed. The way out of the negative state is precisely through reconciliation, the acceptance of what happened.

In such a scenario, the time factor is of great importance, since always reduces the severity of what transpired, and in some cases, it can – for an external observer – completely blur the traumatic experience. Equally, the mitigation of the traumatic sensation should occur when the experience is transmitted from the subject who has experienced it to others. A change in perception occurs not only through the transfer of feelings from one person to another, when – for the assessment to coincide – the information “donor” and the recipient must have similar ideological attitudes and, if possible, a similar life experience. In this respect, the most successful transmission of experience is possible in the circle of close relatives and in a community of like-minded people. With regard to communities of Evangelical believers, the coincidence of these multitudes is especially important: as a rule, the composition of such Churches and the increase of its flock occurs primarily due to family relations, therefore, the presence of family ties, as a rule, means the coincidence of the basic ideological attitudes.

Working with representatives of Evangelical communities is convenient, since they allow us to remove the problem of distinguishing between formal and actual “church-going” believers. These Churches are an example of religious groups, whose members are characterized by a regular religious life, an active ideological position, a high level of community consolidation, and allow their community to take part in all their life situations. Thus, the provision on the high regulatory potential of religion as a phenomenon of social life is applicable to them, which makes it possible to study the religious influence itself on the techniques of coping with traumatic experience.

In studying the ways of communicating a message aimed at the perception and coping with trauma, we will examine the recipients of information – those who received messages about negative experiences from relatives and were forced to form their own attitude towards it. Working with the second and third generations makes

it possible to use a delay in the perception of trauma, as well as to record the peculiarities of its semantic load and assessment at the present time.

Representatives of local religious communities became the objects of research. Geographically, the research project was carried out in the Kama region, which, due to the peculiarities of its history, is characterized by the high concentration of victims, suffering from the oppressive policies of the state. The main research method for collecting information was a semi-structured interview as it allows us to adjust the structure, depending on the individual characteristics of the interlocutor, and to take into account their religious views and emotional background, and to avoid a possible negative reaction from the respondent.

The interviews were attended by representatives of the Perm Separate Brotherhood (Baptist Initiative Movement) and members of the Church of “classical” Pentecostals, who refuse to officially register as a religious organization. The study involved 18 people, with one interview conducted with each of them. Regardless of their religious affiliation, the same questionnaire list was used, but during the conversation, the order of discussion of the most important topic aspects was sometimes changed, the methods of auto-ethnography were also used (correlating the personal experience of the interviewer and the respondent), and this allowed to change the perspective in considering the topic. The interlocutors were generally ready to tell stories related to directly or indirectly from their personal lives. For the problem considered in this paper, two sets of questions were used. The first dealt with the specifics of preserving experience about negative facts of the past – information about the event itself, the presence of channels for receiving it, the degree of the interlocutor’s involvement in the described situations. The second group focused on clarifying the peculiarities of the perception of traumatic events at the present time – the influence on the life path of the interlocutor and his relatives, the assessment of the significance for the believer himself and the community as a whole. We concentrated on the interpretation of information, the peculiarities of its rethinking by the respondent, and not on the accuracy of conveying the events of the country’s history and the respondent’s personal life.

To develop the research problem posed in the article, we chose the approach of J. Alexander and R. Eyerman, as well as P. Sztompka, since these allow us to consider historical and cultural trauma as a socially constructed phenomenon that directly depends on the approaches dominating in the community⁶⁰. Trauma goes beyond the limits of psychoanalytic research, acquires a cultural perspective of consideration. The priority for research analysis is not a set of objective facts, but the criteria used by individuals for the perception and assessment of the social. To verify the material obtained, a compendium of studies devoted to the problem of the traumatic in Russian historiography was involved, represented by the compendium *Trauma: Points*⁶¹.

The presence of many works devoted to the consequences of trauma in society⁶², unfortunately, did not become the basis for a

⁶⁰ Айерман Р. Социальная теория и травма / Р. Айерман ; пер. Д. Хлевнюк // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12, № 1. С. 121–138; Александер Д. Культурная травма и коллективная идентичность / Д. Александер, Д. Ю. Куракин // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 5–40; Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6–16.

⁶¹ Травма: пункты : сборник статей / Под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М. : Новое литературное обозрение, 2009. 936 с.

⁶² Атанесян А. В. Культура памяти и некоторые модели памяти о геноциде армян в современном армянском обществе / А. В. Атанесян // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8, № 4–1. С. 46–54; Бурлакова Н. С. Психодинамика межпоколенческой передачи травматического опыта в условиях семьи: история и современность / Н. С. Бурлакова // Психологические проблемы современной семьи : сборник тезисов VI Международной научной конференции. (Москва, Звенигород, Екатеринбург, 30 сентября – 4 октября 2015 года) / Под ред. О. А. Карабановой, Е. И. Захаровой [и др.]. Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2015. С. 479–492; Зубков Н. Коллективная память как объект манипуляции. М. : Дело, 2019. 176 с.; Федосова Е. В. Социальная память и травматический образ прошлого: социологический дискурс / Е. В. Федосова // Общество: социология, психология, педагогика. 2019. № 12 (68). С. 50–54; Камоза Т. М. Травма как коллективный феномен: методологический и историко-философский аспекты исследования // Евразийский союз учёных. 2016. № 3-4 (24). С. 52–55;

Корецкая М. А. (Не) напрасные жертвы: травма как точка сборки биополитического коллективного тела // Международный журнал исследо-

comprehensive understanding of the social significance of trauma. Russian researchers traditionally pay more attention to the analysis of the traumatic that fundamentally changes the lifestyle and fate of a person (dispossession, Stalin's Great Terror, persecution of dissidents), focusing on the facts and details of the processes described and the formation of memory about negative events of the past⁶³.

ваний культуры. 2017. № 4 (29). С. 29–43; *Красноборов М. А.* Механизмы взаимодействия семейной и общенациональной исторической памяти в процессе формирования локальной идентичности // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2017. № 3. С. 123–131; *Кучева А. В.* Концепция культурной травмы и возможность её применения к интерпретации исторических событий // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 8 (70). С. 118–120; *Логунова Л. Ю.* Влияние исторической травмы на семейно-родовую память сибиряков // Социологические исследования. 2009. № 9 (305). С. 126–136; *Николаева Е. И.* Детская психическая травма как отзвук социальных потрясений / Е. И. Николаева, А. М. Сафонова // Историческая психология и социология истории. 2010. Т. 3, № 1. С. 184–194; *Печин Ю. В.* Прощение как терапия культурной травмы // Сибирский педагогический журнал. 2014. № 1. С. 171–174; *Тульчинский Г. Л.* Соотношение исторической и культурной памяти: практики забвения // Социально-политические науки. 2016. № 4. С. 10–13; *Тульчинский Г. Л.* Историческая память: гордость, скорбь и забвение / Г. Л. Тульчинский // Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность : сборник статей Международной научно-практической конференции (Москва, 25–27 апреля 2016 г.). Ч. 1. Москва : Московский государственный университет дизайна и технологии, 2016. С. 278–282; *Халлисте О. В.* Роль исторической памяти в «защитном» этническом конфликте: актуализация памяти социальной идентичности // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2015. Т. 208. Ч. 2. С. 22–31.

⁶³ *Колдушко А. А.* «Травма неволи» как вид социокультурной травмы в годы Большого Террора (1930-е годы) // Технологос. 2019. № 3. С. 47–60;

Колдушко А. А. Преодоление социальной травмы репрессий 1937–1938 гг.: характеристика исследования и реконструкция на основе источников архивно-следственного дела (на примере А. К. Гампера) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 10 (72). С. 111–113; *Кучева А. В.* Повседневная жизнь советского человека в послевоенный период (40–50-е годы XX века): основные стратегии выживания и преодоления травмы / А. В. Кучева, В. С. Мордвинцева // Технологос. 2019. № 3. С. 73–83; *Махлин В. Л.* Три травмы (К герменев-

The authors have come across only one work in which the traumatic experience is seen as potentially sacralized and thereby constituting the social behavior of those associated with it⁶⁴. Another step in this direction was taken by researchers analyzing the phenomenon of trauma and the associated social roles as a result of a cultural construct⁶⁵. Overall, after J. Alexander, R. Eyerman and P. Sztompka, no corrective or complementary theoretical provisions were formed in understanding the spectrum of social effects of trauma. Therefore, the author of this article attempts to partially fill this gap.

First, let us pay attention to the fact that the religious as a separate factor in the correction of the worldview perception works only if a person has been subjected to some form of religious oppression. The presence of a religious faith correlated with an ethnic group (“Рус-

тике советского опыта) / В. Л. Махлин // Культурология. 2017. № 1 (80). С. 4–22; Рахаев Дж. Я. Воспроизведение травмы: осмысление депортации в профессиональной культуре репрессированных народов Северного Кавказа (на примере балкарцев и карачаевцев) / Д. Я. Рахаев // Русский травелог XVIII–XX веков. Новосибирск : Новосибирский государственный педагогический университет, 2015. С. 542–562; Хлынина Т. П. Великая Отечественная война и новая историческая память: «понимающее забвение», «проработка прошлого» и креативное мифотворчество // Русская старина. 2013. № 2 (8). С. 97–104;

Шеманова Н. А. Опыт разрешения травмы, вызванной знакомством с архивным следственным делом репрессированного родственника / Н. А. Шеманова // Консультативная психология и психотерапия. 2016. Т. 24, № 1 (90). С. 169–180; Янковская Г. А. Молотовский коктейль для травмированного сообщества // Вестник Пермского университета. Серия «История». 2012. № 2 (19). С. 152–159.

⁶⁴ Rouhier-Willoughby J. The GULAG reclaimed as sacred space: the negotiation of memory at the Holy spring of Iskitim // Laboratorium. 2015. Vol. 7, № 1. P. 51–70.

⁶⁵ Аникин Д. А. Травматизация прошлого: методология исследования и основные подходы // Studia Humanitatis. 2018. № 4. URL: www.st-hum.ru (дата обращения 27.04.2020); Аникин Д. «Травма» памяти: стратегии конструирования в современном политическом дискурсе // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2014. Т. 2, № 1. С. 220–229; Аникин Д. А. Травмы культурной памяти: концептуальный анализ и методологические основания исследования / Д. А. Аникин, О. В. Головашина // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 425. С. 78–8; Коротецкая Л. В. Холокост как социальная и культурная конструкция памяти: фактор травмы и позиция жертвы // Социологические исследования. 2016. № 3. С. 107–117.

sian-Orthodox”, “Tatar-Muslim”, “Jew-Judaist”) does not work if the policy of infringement of rights concerns only representatives of a certain people (peoples). Therefore, among such respondents (in this case, Muslims) there are statements like: *“No, I do not attend May 18th, I am not a Muslim. I commemorate the victims, but in my own way. I remember the innocent victims. It doesn’t matter who you are – a Tatar or a Russian. My son-in-law is a Crimean Tatar, he is a Muslim, he prays and takes part in the May 18th commemoration”* (woman, 60 years old). On the contrary, the respondent, who realizes that his relatives suffered precisely for their faith, is looking for an opportunity to compensate for the suffering in religious teaching and practice. The attitude of Evangelicals towards the negative experience of the past can be described by the words of one of them: *“it was never hidden, but it was never dramatized”* (05.11.2019 – 2). Receiving such a response, the questioner may get the feeling that the idea of the trauma from persecution does not exist in these communities but is – in fact – imposed by the researcher. Homeschooling and church education in Evangelical communities implied an initial readiness for persecution: *“We were told from childhood, we were preached the Gospel, we read it, we heard it, we knew that we are Christians, that is, followers of Jesus Christ. We know his life, how he lived, how he acted, how he interacted with people. This is what they did to him, and what he did to them. That is, we learn from him. He said: they persecuted me; they will persecute you too. They kept my word, and they will keep yours. Also, let’s say we know that ... well, and ... he says: as they did to me, so they will do to you... as naturally perceived. This means that this is our way, that means it should be so”* (09.12.2019 – 2).

The religious creed used for the formation of such a position was not necessarily used directly, often playing the role of a vector of behavior of believers in a situation of suffering: *“maybe it also depends on the parents. If mum didn’t say all the time: ‘Here’s our dad is being persecuted for believing in God, here we are repressed’”. Maybe because of this, because my mother always smiled ... Mom will pray to God, shines, rejoices <...> I did not feel this load, I did not worry ... there is precisely this repression, I don’t know, I have not postponed it”* (05.11.2020 – 1). The focus on afterlife retribution, the low value of the momentary good influenced the behavioral features not only in public life, where feelings had to be hidden, but also in the family:

“what’s inside ... there is a dear memory. In general, here’s how ... like in a basin, she washed such, even if it was black ... There was no such thing that they complained about one of those events” (05.11.2020 – 2). The behavior of children and grandchildren in the community fully reproduced the model of parental attitude to persecution: *“I don’t want to forget at all, I want to pass it on to our children and pass it on in general ... it was not a problem for us. We lived in the fact that we were glad that we were being persecuted, because ... our parents, maybe they encouraged us to do this, that they persecuted Christ, and they will also persecute us. This means the right path. So... well, we have been since childhood... we saw that clearly God exists, that we are on the right path and we, in general, maybe, we gave this assessment when we had already grown up”* (15.12.2019).

In the Gospels, we see the need for a positive attitude towards those people who acted as executioners in relation to the injured relatives or acquaintances:

Respondent: *In general, we were taught that even the persecutors were treated with kindness, with love, or, more simply...*

Interviewer: *Just love your friend; try to love your enemy.*

Respondent: *Yes. And even here, we did not show, well, as it were, hatred, because this is a sign of our weakness if we are like this”* (10.27.2020 – 2).

In relation to the single principle that is implemented towards others: *“The main thing is that there is no evil in my heart towards these people, and that is all”* (12.09.2020 – 2).

The perception of traumatic events as an inevitable experience that is complemented by ideas about the educational, spiritually purifying, effects of trauma:

Respondent: *He remains a Christian in this doghouse, in this brutal society. He turns out to be a real human being; it’s just amazing. And no matter how many brothers come to us, we see that these people do not even smoke, do not drink, do not swear at anyone, do not humiliate the authorities, but exalt only God. It’s just the greater inspiration for us to live this way.*

Interviewer: *That is, you saw that imprisonment did not spoil people at all, right?*

Respondent: *Absolutely! Absolutely. On the contrary, it put them in such a high “rank” simply, allowing people to become cleaner, kinder,*

yearning to serve God even more. This is really a response to all these oppressions (20.10.2020 – 2).

The confidence that everything was going as it should be reinforced among Pentecostals and Baptists by a constant appeal to faith as the only true pillar in life: *“But this hope and trust, this core, is impossible to forget. This core, it gives strength to survive, and in cells, and in deadly diseases, and in financial difficulties, and whatever it may be, this is the hope and trust in God, it gives us strength to survive”* (12.15.2019).

Constant persecution, combined with the belief in the inevitability, or even the benefit, of suffering leads to the routinization of repressive practices. They become a part of everyday life and thus gradually lose their traumatic effect: *“There is nothing special in memory. It seemed so natural... that we often had blessings in our home, in a private home. And as if, well, the police came again, they dispersed them again, they didn’t let me pray...”* (05.11.2020 – 1). For teenagers, there was even a kind of game element to it: *“And even when we were dispersed or something else, there was no anger at them, I remember. We regarded it as some kind of adventure. Well, it was a pity for mom, dad that they have to endure all this. Once my dad told me later that he was summoned to the investigator, they talked and everything else. It was somehow a pity that it was happening like that. But I don’t remember that there was any such grief, anger or something else”* (20.10.2019 – 1).

Intra-church didactics is being formed, often acquiring a poetic form and forming a correct line of behavior: *“there is even a poem ‘Life is a harsh school of struggle’... The tests are sometimes difficult, but only in these difficulties do we learn wonderful lessons, days are blacker than clouds, winds sometimes blow terrible, but a bright ray of salvation opens up a clear sky for us... there is such an expression ‘suffering is the skill of obedience’... there is such an expression, so, in general, well, you have to humble yourself, you understand, you can’t change anything, you’re already reassured in that...”* (10.27.2019 – 2). The family remained the starting point for such upbringing: *“my mother always said: ‘Children, we are not as bad as others. It’s not so difficult for us. There are families who find it much more difficult... And we have this feeling that we are not bad, that we feel good, it may be ... And if my mother would always say that ‘how hard it is, now my father*

was imprisoned again” ... of course she instilled in us aggression against those people who did such things” (12.15.2019).

Social status is explained in belonging to the Church and is compensated by the rewards it promises: *“I had the feeling that this is all natural, this is our ‘share of the peasant’, that it should be so, it will be so, because we are peasants. That is, there was no tightening, some kind of evil; I don’t remember that. And, having matured, I realized that my father was persecuted. We perceive that we are children of God; we have eternal life that God will give us. And the fact that these persecutions ... the Apostle Paul says: ‘This is worth nothing compared to the glory that will be’” (05.11.2019 – 1).*

The determining role of the community, albeit in a latent form, in the interpretation of repressive influence shows that an individual’s attitude to trauma is determined not by direct involvement in events or the very nature of the results, but by the degree of self-identification with this community⁶⁶. This is confirmed by the believers themselves: *“well, how should I put it? It does not traumatize us as much as others” (09.12.2020 – 2).*

The evangelical community uses the heroization of the victims as one of the mechanisms for compensating for trauma: *“It’s as if it’s such a joy that parents weren’t the children of their time, they didn’t bend under a changeable world. Hence, here is such a pleasant feeling” (05.11.2019 – 2).* The persecuted becomes a behavioral model both for a person’s peers and for the next generations: *“Anyway, I somehow respected him. What he went through now, these times, now, hard times for believing Christians, for me this... respect, for me it was an example, first of all, that he remained faithful, he did not return evil for something there and something else. It was for me that he was an example. And there is a very good example” (09.12.2020 – 1).*

There are also direct indications of the presence of the idea of heroism among the Evangelicals: *“Christians have their own heroism there, we did not reject there that there are Komsomol heroes, pioneers,*

⁶⁶ Аникин Д. А. «Изображая жертву»: коллективные травмы и сакрализация прошлого / Д. А. Аникин // *Философская антропология жертвы: от архаических корней к современным контекстам* : материалы Всероссийской конференции с иностранным участием (Самара, 12–14 октября 2017 года) / Самарская гуманитарная академия. Самара : Самарская гуманитарная академия, 2017. С. 157.

etc. But all the same, we have our own heroes”, because “this faith is not a trifle, it’s all paid for in blood” (14.10.2019 – 1).

The fact of testing begins to be perceived as a guarantee of inclusion in the community the “chosen ones”: *“Once I heard this sermon. One brother preached and said: “In the Acts of the Apostles it is written that when the apostles were taken and beaten, and they rejoiced that they were honored to accept dishonor for the name of the Lord, you understand, here it is written that “they rejoiced” the first is that this happened, the second, says, it should be rewarded, it will not affect everyone”. And, in fact, then, when I realized this, that it is necessary to be rewarded, and I am not yet strong enough to be rewarded with these sufferings” (14.10.2019 – 1).* The tests were perceived only through comparison with what others had to endure, but not as an unfair act: *“the teacher was shouting, but I understood that my dad was in prison, and the teacher was just shouting at me, and I feel so good. And, I don’t know, maybe it was some kind of abnormal, but we perceived it that it was our privilege” (12.05.2019).* The expectation of suffering as a necessary part of the salvation of one’s own soul formed a feeling of belonging to the heroism of fellow believers: *“I understood that I would have to stand for this faith, so, perhaps, I will have to suffer” (14.10.2019 – 1).* At the same time, the feeling of God’s mercy towards believers forms a feeling of their own security in the ontological plane: *“God does not send his children there, where it is impossible to transfer it. And such a thought is a passing and even an ecstatic thought that God gives a person to experience the bitterness of life, and if a person does not become embittered, but reaches out to God, this is a very good opportunity for him to search for God. God does not make our life generally unbearable, and if something like that happened, then there is some kind of providence in this. To find the Creator, to save your soul, to see the meaning of life” (20.10.2019 – 2).*

It is impossible not to mention one more aspect of the perception of persecution among the Evangelicals. According to the faithful, trauma is not only permissible and inevitable; it is a kind of pass to the Kingdom of Salvation. Trauma also acts as an effective vaccine against the weakening of faith, spiritual laziness, blurring the boundaries between the community and the world: *“when the church is persecuted, then it lives. When the persecution ceases, God’s people*

merge with the world ... these customs, everything enters, there is no one to stand, understand these values, this is not. And I see that the church, she, from the beginning, if you take the history from the first Christians ... persecutions, they are with renewed vigor ... the most severe, then they become silent ... for some period they rise again. And therefore, these are natural conditions for us” (14.10.2019 – 1). In this interpretation, not only faith saves human souls. The whole world around is arranged so that true believers have soteriological possibilities: *“if God allows, and we are worthy of it, then we take it as an honor. When God allows it, that He has his own plans for this ... And when the Church enters this period, it means that God has such intentions to make the Church better, so that there are truly heroes of faith, so that people can see Him brighter. In general, God allowed such a thing in history to make God more vividly noticed. And people now see God”* (10.20.2019 – 2). In fact, we are talking about a kind of theophany that takes place in the most difficult moments for the life of the community: *“if there is persecution, then the Church is purified, God is clearly visible there. We value it greatly”* (20.10.2019 – 2).

Even special cases and specific ill-wishers act as teachers on the path to salvation: *“And my dad said: I didn’t have enough wisdom to raise all ten of you, six sons, four daughters, he says: but for me it’s did the investigator, the prosecutor... When, I stood up, I could not say anything, but remained faithful to God, my children saw, and a desire to be the same as their father flared up in them”* (12.15.2019). Repressions also act as an antidote to the influence of modern culture: *“during persecutions you begin to delve more spiritually, you begin to pray more, to be in fasting. They, as it were, strengthen the faith. And if we are not touched, then we weaken in faith, one might say so. Even with the kind of life that we have now, with the devil being “good”, with the Internet, young people are pouring in, everything is on the phones, the Bible is left behind, pushed into the background, they do not read. On the contrary, persecution strengthens the faith. We are getting closer to God”* (10.07.2019 – 1). Lack of ideas about trauma makes it impossible to form any type of attitude towards it⁶⁷.

⁶⁷ Миськова Е. В. Травма сталинских репрессий в контексте коллективных травм геноцидов / Е. В. Миськова // Психология и психотерапия семьи. 2019. № 4. С. 40.

It should be noted that the absence of post-traumatic stress syndrome, combined with the habituation of several negative aspects of community life, leads to a weakening of the very perception of persecution, especially on the part of young members of the Church. On the one hand, they fully retain in their memory the fact of their co-religionists' steadfastness in the face of threats from the authorities: *"First of all, I was proud that I was in this way ... as if with such people ... believers. They were very strong in spirit and the like ... That they withstood, of course, I also tried on myself: could I withstand those repressions, those difficulties, as it were, that they are on themselves... catacombs or, as this book is called, something like that ... there, when strong burning begins, on the contrary, people, as to say, attracts... people are united by misfortune"* (20.10.2019 – 1).

At the same time, by and large, the traumatic events themselves are irrelevant: *"I think so... because, well, if, for example, this person reported about my father, then I could react differently. And whatever happened a long time ago, I can't feel it... it doesn't really concern my feelings"* (28.10.2019). Only immersion in these events can once again cause a short-term intensification of emotions: *"when it was here, as it were, far away, you will learn as information just... feelings as such, here, to someone there ... well, there is no such thing... I remember that I came to Perm-36, when I saw there really some exhibits, what was there ... in general it becomes creepy, somehow. When you understand ... in fact, people lived there, and how they lived, in what conditions they were ... and when just by story, well, don't worry, there are such vivid emotions and feelings"* (09.12.2020 – 3). *And in everyday life, the memory of trauma in young people looks like this: "what sensations ... well, it's just informative and interesting how people lived ... it's hard to somehow say what I had ..."* (20.10.2019 – 1).

The older generation is also familiar with this: *"it was in the past, but it seems that we ... how to say... already, we, well, how to say, do not cause such trauma as it could be for someone"* (09.12.2020 – 2). The blurring of experience during transmission from generation to generation makes its perception formal: *"My children know, but as they said ... well, that is, this is how to read a book, that is, how to feel it emotionally, experience it already... does not cling"* (05.11.2019 – 2). The erasure of the negative also applies to those who were once directly involved in the events of the past: *"I have not experienced any*

tragedy in this. It is clear that today an insulting word can hurt me more than the judge who imprisoned my father, that's all. This time has gone far, I understand how ... important, how life is today, now, how I react to evil, what is happening to me now" (05.11.2019 – 2). We must acknowledge the correctness of the authors who note similar elements of PE. Perception of the past in families with traumatic experiences⁶⁸, focused on involuntarily smoothing out of negative experience and its traumatic impact.

The data obtained in the course of field research suggests that in a society faced with numerous cases of traumatic experience, not a single pattern of perception is formed – “there is a property attributed to an event with the help of society”⁶⁹ – and the scenario of working with it, a wide range of emotions and the principles of social behavior associated with them. Core ideological attitudes are critical when choosing how to treat trauma. They are not necessarily religious in nature yet belonging to a community of believers plays a decisive role in shaping attitudes towards events in the outside world, including traumatic ones.

It is worth recognizing the compensatory function of religious experience in relation to some religious communities leads to a change in perceptions of trauma. The historical path traversed by these communities forms a system of social coordinates, in which not only the idea of the endured hardships and disasters fails, but also their images, proposed from the outside, do not ultimately take root. The concept of trauma in relation to the Evangelical Churches looks not so much as theoretically describing several processes, as artificially imposed.

The researcher is faced with the mention of formally traumatic events, which, in fact, do not give any such effect. The influence of negative experience is not traced either in the description of the facts of the past, or in their assessment, or in the current mood of the interlocutors. Thus, there is no room left for the process of constructing ideas about trauma⁷⁰ and correcting the inconsistency of what happened with cultural norms⁷¹. The expected assessment of the past

⁶⁸ Омельченко Е. Л. Указ. соч. С. 149–150.

⁶⁹ Александер Д. Указ. соч. С. 16.

⁷⁰ Айерман Р. Указ. соч. С. 125

⁷¹ Штомпка П. Указ. соч. С. 13.

as “traumatic”⁷² is replaced by an indication of the obvious benefits of persecution and repression for true believers. Thus, the study of trauma gives way to the study of the soteriological memories of the Evangelical Churches.

Thus, in relation to the practice of mindfulness among the representatives of classical Pentecostals and Baptist “initiators”, it is worth talking not so much about the peculiarities of the perception of traumatic experience, but about removing the “worldly life”, taking it out of the evaluation criteria. Even if this experience is recorded, it is at the level of an ontological given, which has, first, a soteriological meaning. Psychological pain from unpleasant events is covered by the expectation of retribution for the suffering endured. At the same time, the response to trauma is rationalized on the basis of Christian doctrine. The traumatic experience transformed in this way is blurred in the process of transmission from generation to generation, helping to avoid post-traumatic syndrome and forming mechanisms of psychological defense against any negative form of social life.

⁷² *Александр Д. Указ. соч. С. 17.*

ГЛАВА 5.

**Александр Лобанов: рецепция политического
в советском аутсайдерском искусстве****Alexander Lobanov: political reception
in soviet outsider art**

Analysis of the phenomena of Soviet culture related with the problem of authoritative discourse. A professional painter or sculptor, moreover, even an amateur painter from an art studio at a workers club went through normalization processes (in M. Foucault's terminology – a specific mechanism of disciplinary power) and disciplinary practices formed by the Soviet ideological authoritative discourse⁷³.

Typologically, the boundaries of outsider art imply isolation; an outsider artist is not associated with artistic communities, the imagery of his works is formed independently. But analyzing life stories and work of outsider artists, researchers reveal that these creators are not excluded from any social interaction or retain the memory of the social environment and life situations of the past⁷⁴. Moreover, life strategies of outsider artists, meanings of their works and visual language are determined by the influences of an external environment. "External" circumstances of an outsider artist are not limited to art studies that are customary for "insider" artists: copying, studying anatomy, plein air, etc. Bypassing all of the above, outsider artists are immersed in the context of their contemporary visual culture and semantic narratives, exceptions here are cases of serious mental pathology. In the situation of Soviet and Post-Soviet Art Brut and Outsider Art, it is possible to reveal a substantial intensity of external influences on the narratives of the creativity of "excluded" artists, which appeared due to the totality of power and the importance of political discourse in the Soviet culture⁷⁵.

⁷³ Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М. : Ад Маргинем Пресс, 1999. 416 с.

⁷⁴ Outliers and American Vanguard Art / Lynne Cooke (eds.). Chicago : University of Chicago Press, 2018. 448 p.

⁷⁵ Суворова А. А. Аутсайдерское искусство в России: тенденции, темы, образы. М. : Городец, 2020. 160 с.

Alexander Lobanov (1924–2003) is one of the most famous outsider artists of the Soviet period. The creative history of Alexander Lobanov covers most of the twentieth century; he had begun to draw in childhood and was creating drawings and collages throughout all time in the Afonino psychiatric hospital, where he stayed until the end of his life. In Russia, the works of Alexander Lobanov were first shown at exhibitions organized by the Yaroslavl psychiatrist Vladimir Gavrilov; world fame came to Alexander Lobanov in the 2000s, when his personal exhibitions were organized abroad. The analysis of the works of Alexander Lobanov was made by Vladimir Gavrilov, who outlined some approaches to the study of the personal history of the outsider artist, and also collected information about the life of the artist⁷⁶. During the 2000s, mainly abroad, several other articles and texts for catalogs about Alexander Lobanov were published. Of these, the most interesting is the original analytical text “Art brut and obsession: draftsmen Danzig Baldaev and Alexander Lobanov” by Elizabeth Anstett. The anthropologist compares the imagery of the works of Alexander Lobanov and Danzig Baldaev, people with very different fates, but chronologically almost an equal history of life in one country. Both had the experience of living in a specific, isolated environment – the Gulag and a prison for Baldaev, who was a warden, collector of prison tattoos, and a psychiatric hospital for Lobanov, who was there for more than half a century. According to this researcher, the drawings of both have an obsessive character (the permanent images of a weapon in Lobanov’s case and the analogy with a tattooed body in Baldaev’s)⁷⁷. Also, thousands of images by Lobanov and Baldaev demonstrate a connection with photography and the autobiographical foundations of creativity. In the perspective of this study, the anthropologist’s conclusion is important: the art of Alexander Lobanov and Danzig Baldaev, no matter how unique in their scale, abundance, and complexity,

⁷⁶ *Гаврилов В. В.* «Давно – хорошо...» (история жизни художника – диалог психопатологии и творчества) // Прикладная психология и психоанализ: электрон. науч. журн. 2008. № 1–2. URL: <http://ppip.su> (дата обращения: 20.04.2019).

⁷⁷ *Anstett E.* Art brut et obsession: Dantsig Baldaev et Alexandre Lobanov, dessinateurs. URL: http://www.aleksander-lobanov.com/IMG/pdf/Art_brut_et_obsession-_E-_ANSTETT.pdf (дата обращения: 10.05.2019).

put forward a hypothesis about the existence of some Soviet genre, which is an obsession that embodied the age of violence and mass crime⁷⁸. Another important aspect of this research is the formal analysis of Alexander Lobanov's artistic language, which combines different aspects of a normative, widespread visuality, used in Soviet artistic discourse. The study of Elizabeth Anstette, the persuasiveness of her application of ideological optics, allows us to continue research in this direction.

It is logical to use the theory of discourse⁷⁹ as a basic concept, supplementing it with studies about political power and its influence⁸⁰. In the course of research into the personality and life of an outsider artist, it was revealed that Alexander Lobanov did not have a psychiatric diagnosis, which makes it possible to remove the question of Lobanov's deep personal destruction and to refuse the analysis of his works in the context of psychopathology⁸¹. In the interdisciplinary study of outsider artist's creativity, the theory of social drama by Erving Goffmann is also applicable⁸². Certain aspects of Lobanov's personal accentuation can be studied by referring to the works of psychologists on the specifics of compensatory activity in the deaf⁸³. The basic methodological approach of the study is discourse analysis, which is completed by semiotic and formal analysis. The formal analysis [Rose] was used as the theoretical basis and methodology for the study of the formal structure of the works of Alexander Lobanov. Aspects related to the influence of power discourse on the field of

⁷⁸ Ibidem.

⁷⁹ Фуко М. Указ. соч.

⁸⁰ Гройс Б. Поэтика политики. М. : Ад Маргинем Пресс, 2012. 400 с.

⁸¹ Гаврилов В. В. Указ. соч.

⁸² Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М. : КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2000. 304 с.

⁸³ Зайцева С. Д. Особенности механизмов психологической защиты у глухих подростков, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования / С. Д. Зайцева, К. И. Засядько // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2009. № 10. С. 89–94; Кошелева Е. А. Психологические особенности глухих и слабослышащих людей и их проявления в общении // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 2–3. С. 672–675; Рахманов В. М. Медико-социальные аспекты воспитания и обучения детей с нарушениями слуха. Харьков : Основа, 1990. 153 с.

creativity of Soviet and Post-Soviet outsider artists have been reflected in recent studies⁸⁴.

Soviet ideology was shaping a new person; ideology was all-pervading, even derelicts – forced or voluntary – were living in this Soviet ideological machine, constantly producing images and meanings. As Boris Groys wrote, the political measures of Soviet ideology were aimed at the formation of a new communist humanity, and this concerned all citizens of the state and had a deep impact on their psyche. The product of this ideological work was “...a collective soul – a psychic territory, the sovereign of which was the state”⁸⁵. The pressure and totality of the official Soviet ideology subdued any private psychology that was subjected to “nationalization”.

The field of art is formed in a historical perspective, while the artist is a kind appropriator (sometimes involuntary) of various artistic styles, religious and ideological symbols, a visuality of mass culture, advertising, and images of art of the past. A professional artist is reflexive, acting “on the territory” of collective experiences, he strives to respond to the public. In the case of outsider art, artistic privatization is irreversible, the artist is inseparable from this collective experience⁸⁶.

But the transmission of the meanings and visuality of Soviet ideology was not only top-down. According to Michel Foucault, power is a rather horizontal – equals structure of equals, i. e., everyone has leverage to influence others⁸⁷. Assuming that in the case of Alexander Lobanov, it is not deep psychopathology, but a situation of personal accentuation and isolation, reinforced by deafness, it is possible to use methodological approaches applied to personality representation. Lobanov constructs another Self in his drawings and collaged photographs, and his “mask” becomes a part of the “Self” of an outsider artist⁸⁸. Follow Irving Goffman, an individual can be completely captured by his own game and sincerely believe that the reality he creates or the impression about it is the true reality⁸⁹. According to

⁸⁴ *Суворова А. А.* Указ. соч. С. 86–112.

⁸⁵ *Гройс Б.* Указ. соч. С. 327.

⁸⁶ *Outliers and American Vanguard Art...*

⁸⁷ *Фуко М.* Указ. соч.

⁸⁸ *Гаврилов В. В.* Указ. соч.

⁸⁹ *Гофман И.* Указ. соч.

Hoffman, in a certain sense, since the mask represents the role that the individual tries to justify with his life and “this mask is our truer self, the self we would like to be”⁹⁰. As a result, the concept of the role becomes “second nature” of the individual and an integral part of his personality.

Thus, the focus of the study of the creative history of Alexander Lobanov and the selected methodological approaches, it is possible to form several research questions:

1) Is the excluded totally excluded? Is the description of an outsider artist as people “outside of communities” an absolutizing definition or does it only concern the field of accepted “correct” art? The “right” communities? And also, are meanings and images total of the Soviet ideology and how do they function, penetrating into isolated communities?

2) How did the specificity of personal experience and perception of the world affect a construction of imagery? And on the very process of its production?

The mental status of Alexander Lobanov is ambiguous. In foreign exhibitions and articles references to madness were indicated, but Vladimir Gavrilov tends to the version of personal accentuation, which is an extreme version of the norm⁹¹. In combination with deafness (in the absence of training led to a reduced, according to the age norm, intellect) and the lack of pedagogical correction, Alexander Lobanov’s adaptation in society is disturbed, which at a certain point leads to psychopathization and his placement in a psychiatric hospital (which, in the post-war time served for this outsider artist wasn’t a medical institution, but a correctional one).

Experts describe the psychological characteristics of deaf and dumb people as follows: such people can be easily vulnerable, sensitive; their inner world consists of inner experiences and traumas⁹². In the case of Alexander Lobanov, “they began to notice heightened resentment: the embittered could kick out the younger children from the room or burn their drawings in front of their eyes in the yard... he disobeys his relatives, and in another period of nervous tension,

⁹⁰ Там же. С. 52.

⁹¹ *Гаврилов В. В.* Указ. соч.

⁹² *Рахманов В. М.* Указ. соч. С. 5.

the young rebel burns family documents and bonds”⁹³. Psychologists also note that deaf children are less socially mature than their hearing peers. Moral and ethical ideas generally correspond to the social criteria of society, but one-sidedness, there may be uncritical self-esteem, its overestimation⁹⁴. Based on the characteristics of the described psychological portrait of Alexander Lobanov, these characteristics were inherent in him. It became the basis for a specific personal accentuation and determine the formation of certain mechanisms of creativity and the specific imagery of his works.

It is also important to identify the motives and mechanisms of a drawing process. There is a hypothesis about a psychotic outbreak caused by the flooding of the place of his childhood – Mologa – and the placement of Lobanov in a psychiatric hospital in 1947⁹⁵. In these interpretations, there are also motives for the mystification of this moment, such as the idea that Lobanov is in a state of radical depersonalization, which Lobanov must go through to gain access to a new creative power, to transform into a new personality⁹⁶. But the moment of “rebirth” into a new personality cannot be confirmed via the analysis of first years in the hospital. On the contrary, we can observe the resistance of the personality to new circumstances. According to Vladimir Gavrilov: “The first decade in the hospital, he protested: then for a week he froze in an intrauterine position (not catatonia, but – a response to life that was accessible to his understanding!), Then he became extremely angry, aggressive, excited: bellowing and spitting”⁹⁷.

The accentuation in Lobanov’s case is an extreme version of the norm. Impairment of adaptation, as well as reduced intelligence, which could also be associated with impaired socialization due to deaf-dumbness, led to the described psychopathization. Thus, the behavior of Alexander Lobanov fits into a person’s reaction to being placed in an alien, hostile environment and, consequently, the man-

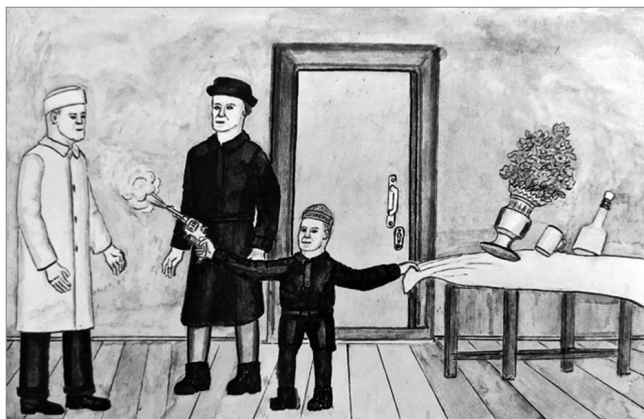
⁹³ Гаврилов В. В. Указ. соч.

⁹⁴ Кошелева Ю. А. Указ. соч.

⁹⁵ Anstett E. Op. cit.; Гаврилов В. В. Указ. соч.

⁹⁶ Janody P. À propos de l’œuvre d’Aleksander Pavlovitch Lobanov, de sa production et de son devenir // Essaim. 2009. № 23. P. 23–36. DOI 10.3917/ru.023.0023. URL: <https://www.cairn.info/revue-essaim-2009-2-page-23.htm> (дата обращения: 13.05.2019).

⁹⁷ Гаврилов В. В. Указ. соч.



*Aleksander Lobanov. Untitled. 1970s. Paper, mixed media.
29,5 x 42 cm. © Collection INYE*

ifestation of various mechanisms of psychological defense in such a situation. Researchers divide the mechanisms of psychological defense according to the level of maturity into two groups: 1) projective (repression, denial, regression, reactive formation) and 2) defense (rationalization, sublimation, intellectualization, projection, compensation). According to research, deaf people have more developed defensive mechanisms of psychological defense⁹⁸.

In the last years of being in the family and the first period in the boarding school, Lobanov had projective forms of psychological defense: he lay in bed, wrapped in a blanket, tried to commit suicide, wrote in his notebooks “the deceased is good”⁹⁹. This situation of aggression and protest of Alexander Lobanov against forced medicalization (the process of interpreting the problem of social norms as a consequence of medical and biological causes) can be reflected at first after being hospitalized in his 1970s drawing, repeating his earlier composition.

But by the mid-1960s, Lobanov’s psychological defense mechanisms were progressing, projective ones were replaced by defensive ones. Modern studies show that intellectualization (including subli-

⁹⁸ Зайцева С. Д. Указ. соч.

⁹⁹ Гаврилов В. В. Указ. соч.

mation) for the deaf is becoming one of the key mechanisms of psychological defense (it is twice as frequent as in other adolescents)¹⁰⁰. In other words, there is a switch of impulses that are socially undesirable in a given situation (aggressiveness, sexual energy) to other forms of activity that are socially desirable for the individual and society. Intellectualization is one of the most “mature” defense mechanisms. As the researchers describe, this kind of defense mechanism is often observed in people with a large gap in the level of pretensions and opportunities¹⁰¹.

After the death of his mother in 1964, Lobanov began to paint; it became an instrument of psychological defense in this situation. For deaf Lobanov visual sources were the main, meaning-forming foundations of the lifeworld. But moreover, in the absence of the possibility of real constructing his place in the social hierarchy, Lobanov used drawing as an instrument of social representation. It is important that in constructing his personality, Lobanov though not within the boundaries of a closed medical institution, but in the world of the great Soviet reality, which, possessing totality, penetrated the psychiatric hospital through Soviet films, magazines, and propaganda.

The total number of drawings by Alexander Lobanov is about a thousand; these are landscape drawings, photo collages with drawn frames, the frames, cut-out two-dimensional painted guns, and texts in notebooks. A large part of Lobanov’s legacy is self-portraits (drawn and collaged). Images of the heroes of many of his works often acquire self-portrait features. Analyzing Lobanov’s motives for turning to a self-portrait, his desire to assert himself is invariably noted: “The artist’s self-assertion, suppressed due to his mental and physical disabilities, spilled out in the desire to portray himself with a weapon symbolizing his manhood and being a symbol of “deterrence”¹⁰². In Lobanov’s case it was not mental pathology and the construction of alien reality, but the desire to assert oneself within a given society.

According to Irving Goffmann’s theory, the individual wants to instill high esteem about himself. He is willing to support interaction with others or to deceive, confuse, confuse, or oppose them.

¹⁰⁰ *Зайцева С. Д.* Указ. соч. С. 92.

¹⁰¹ Там же. С. 93.

¹⁰² *Гаврилов В. В.* Указ. соч.



Aleksander Lobanov. Border of the RSFSR Lithuanian. 1960–1970s. Ink, graphite on paper. 29.5x40.2 cm. © Museum of Russian lubok and naive art

Regardless of a specific goal and motives, his interests may be to control the behavior of others, the response to his actions [Goffman]¹⁰³. Lobanov was driven by the desire to demonstrate himself to others, not like the powerless patients of a hospital, who was living in a 16-bed hospital chamber, but a hero who has strength and is ready to protect. From the various sources of visual narratives that were available in the psychiatric hospital, Lobanov chose what was associated with power; he “begins to actively collect and put in his little suitcase under the bed clippings from newspapers and magazines (such as “Hunting and hunting economy”, “Ogonyok”, “Smena”), sheets of tear-off calendars, post-

cards united by a single theme hunting or military history plot”¹⁰⁴. Lobanov’s “capture” of meanings and meanings and imagery of the official Soviet poster and other visual agitation was aimed at strengthening his “Self” through visual representation.

The format of Alexander Lobanov’s self-portraits confirms a focus on representation. Portraits and self-portraits of Alexander Lobanov were always constructed in a certain way: a format of reproduction or photo, handicraft framed in an atelier, that is, they imply some idyllic, constructed, “exemplary” image of the person represented. Markers that bring Lobanov’s self-portraits closer to the “ceremonial” portrait of the Soviet agitprop: a static, clichéd composition and foreshortening, ornamented frames and name of a depicted person at the bottom of the composition.

¹⁰³ Гофман И. Указ. соч.

¹⁰⁴ Гаврилов В. В. Указ. соч.

In this construction of his personality through a presentation in a self-portrait, Lobanov, as it were, introduced himself into a different social reality that was not available to him: “We come into the world as individuals, achieve character role and become persons”¹⁰⁵. In the images constructed in his drawings, Alexander Lobanov becomes a person who has a status in society. In the categories of Irving Goffman’s theory, the “front” constructed by the individual is consistent with the information conveyed by visual markers and social variables of the individual’s state¹⁰⁶.

Since the mid-1970s, Alexander Lobanov had been changing the media of a self-portrait, from a drawn image he turned to collage techniques, combining symbolic and decorative elements (guns, frames). Lobanov’s photo collages, created between 1975 and 1990, were described in earlier studies as the compulsive practice of photographic self-portraiture, with the photographic medium taking on the function of an ideal drawing that faithfully reproduces the individual¹⁰⁷. But it is also important to remember the totality of ideologized visuality. The epoch of the 1960–1970s was a time of change in the language of agitational propaganda, and the specificity of illustrations in magazines also changed: drawn or very heavily retouched photographs were being replaced by photographic images and more didactic compositions. This change in the “global” visuality leads to the appearance of photocollages in Lobanov’s case.



Aleksander Lobanov. Untitled. Between 1970 and 1990. Sticking, watercolor, graphite, felt-tip, ball-point and photomechanical printing on cardboard. 30.3 x 21 cm.

© Collection de l’Art Brut, Lausanne

¹⁰⁵ Гофман И. Указ. соч. С. 52.

¹⁰⁶ Там же. С. 56.

¹⁰⁷ Anstett E. Op. cit.

The totality of visual propaganda produced a wide range of images, myths, and ideas that formed and existed in the mass consciousness of the Soviet era. Which images became the most powerful and influenced Lobanov's art? What semantic and visual narratives penetrated the walls of the provincial mental hospital? According to Alexander Lobanov's biographer, the clippings he collected from magazines and newspapers, leaflets of tear-off calendars, postcards, were united by themes of hunting or military history¹⁰⁸.

Militarized visuality and imagery were the key intentions of the Soviet era. They were reflected in all Lobanov's drawings. Militaristic motives are present as functionally reasonable objects (in the motives of hunting), as well as some symbolic attributes — signs of power or ornamental frames made of hunting rifles. The specificity and transformations of weapons in Lobanov's drawings were described in the texts of the 2000s. Other symbolic items are symbols and motives associated with the state ideology: the coats of arms and flags of the USSR, army, and naval symbols. The militarism of the Soviet state was supported by militarized parades, numerous surrenders of GTO norms, and the honorary titles "Voroshilov Sharpshooter". The militarized reality was repeatedly reproduced in motion pictures, films, paintings, posters of visual agitation. The military were important actors of the Soviet era, were earning honor and respect in society; a man in military uniform was the hero of films: his portraits were on the covers of magazines; he was presented in documentary chronicles and photo reports.

This becomes a kind of coveted "mask" for the social representation of Alexander Lobanov and the most common imagery of his works. But for Lobanov, it is not some idea of Soviet patriotism and a militaristic spirit that becomes important, but material objects embodying abstract strength and power: "A deaf and dumb person sincerely and deeply assimilated this only side of life that was accessible to him. However, he was not interested in the patriotic idea itself, but only in material objects that often accompany the approval of these ideas — various kinds of firearms"¹⁰⁹. That is, the visual codes of ideology were tested by Alexander Lobanov and

¹⁰⁸ *Гаврилов В. В.* Указ. соч.

¹⁰⁹ Там же.

interpreted by an outsider artist in terms of enhancing his own symbolic status.

But in the symbolic universe of Soviet ideology, age had no power only over the leaders. Leader's images were essential for the entire visual narrative of the totalitarian period: professional artists received state awards for portraits of leaders, images of leaders are printed on the pages of newspapers and magazines, replicated in reproductions, subsequently placed in schools, factories' checkpoints, etc.¹¹⁰. Images of Stalin, less often Lenin, appear in Lobanov's artworks several decades of his creative history: "In depicting them, the artist, as it were, renounced the "Self" – the ideal, replacing it with a massive one, embodied in the leader. Perhaps, he perceived the "Father of Nations" in a generalized way of an intercessor"¹¹¹.

Is it possible to talk about the "Self" of the artist in this case? Or is it the horizontal power? Taking power and relaying power, being included in this global totalitarian narrative? In his drawings, Alexander Lobanov followed the key patterns of Stalin's representations. His image was almost always static, this corresponded to the most frequently replicated images¹¹². In the works of Lobanov, Stalin was always in a tunic, without a headdress (rarely in a cap), under portraits there are always the signature "I. V. Stalin" – as they did on replicated portraits



Aleksander Lobanov. Untitled. Ca. 1980s. Gouache, colored pencil and ballpoint pen on paper, 29 x 21 cm.

© Núcleo de Arte da Oliva

¹¹⁰ *Bown M. C. Socialist realist painting. New Heaven, London : Yale University Press, 1998. 506 p.*

¹¹¹ *Гаврилов В. В. Указ. соч.*

¹¹² *Bown M. C. Op. cit.*

of the era of “personality cult”. But further in the construction of the image, Lobanov overaged the symbolic significance of the image. The image of Stalin was complemented by militaristic elements – guns (which was an exceptional iconographic image).

According to Lobanov’s biographers, among the newspaper clippings, posters, and magazines that he carefully kept, there were also images of leaders, but the specific range of these visual samples has not been established. As the most replicated iconographic images, which formally intersect with the imagery of Alexander Lobanov’s drawings, few ones may be sources. Such visual sources of the imagery of Alexander Lobanov’s works include a poster by Vladislav Pravdin “Long live the Bolshevik Party, the Lenin-Stalin Party, the battle-hardened vanguard of the Soviet people, the inspirer and organizer of our victories!”, printed in 1950 in a million copies. This poster presents the archetypal image of Stalin in a military jacket, with a specifically portrait three-quarter turn of the head, idealized in comparison with a real person, facial features canonically fixed in numerous formally and semantically verified images of the leader.

Thanks to propaganda, the image of Stalin began to possess the magic of power, influencing the “little man” of a large country: “Artists created a charismatic persona around Stalin as leader, with a mythic and exemplary hagiography, increasingly superhuman abilities, and the blessing of the state’s founder. Stalin came to function as a symbol for the Party, the state and the nation, as well as for more abstract concepts, such as the new man, the new society and the Bolshevik vision”¹¹³. It is these characteristics, attributed to the images of Stalin and Lenin by mass propaganda, attracted Alexander Lobanov and served as a motif for repeating iconographic schemes, symbolism, and figurativeness of portraits of leaders, as well as implicating these techniques on self-portraits.

Variable elements of Lobanov’s artworks are symbols of statehood: the coats of arms and flags of the USSR, RKK pins, airplanes, “anti-aircraft guns” and machine guns, anchors, and other symbols of the fleet. These symbols were often reproduced in the visual arts

¹¹³ *Pisch A.* The personality cult of Stalin in Soviet posters, 1929–1953: Archetypes, inventions and fabrications. Acton : Australian National University Press, 2016. P. 164.



*‘Long live the Bolshevik Party, the Lenin–Stalin Party, the vanguard of the Soviet people forged in battle, the inspiration and organiser of our victories!’ Artist: Vladislav Pravdin. 1950. Poster. *Iskusstvo* (Moscow, Leningrad). 64.5 x 87.5 cm. Edn 1,000,000¹¹⁴. © Russian State Library*

of the Socialist Realism¹¹⁵. There are also free, “non-state” motives, which mainly form the space of the frame – flowers, plants, birds. All portraits have an accentuated decorative character; they are almost always framed by an oval ornamented frame. Typologically, these portraits are close to the self-portrait of Alexander Lobanov.

In the Soviet poster, the images of leaders were often supplemented with symbolic objects that convey semantically important attitudes of the power discourse: the symbols of statehood (coats of arms, flags, etc.), symbolic buildings and spaces (towers of the Moscow Kremlin, Red Square), state awards, heraldic motifs (branches of an oak, laurel garlands), insignia and objects of military equipment on posters of the war and post-war times (airplanes, anti-aircraft guns, etc.). A similar symbolization of the portrait of Stalin can be seen, for example, on the poster of 1950 “26 years without Lenin, but along the Leninist path”, which combines the images of Lenin

¹¹⁴ Ibid. P. 183

¹¹⁵ *Bown M. C. Op. cit.*



'26 years without Lenin, but still on Lenin's path'. Artist: Mytnikov, 1950. Poster. Rosizo (Rostov-Don). Edn 15,000¹¹⁶. © Russian State Library

and Stalin. A wild-spread compositional and semantic ideas for a Soviet-era poster were also a combination of text and image, its often appeared in Lobanov's drawings.

The origin and mechanism of Lobanov's usage of the ideological text may be analyzed by considering the compositional images of Stalin. Stalin's iconography includes a small number of compositions. Lobanov used mass propaganda or images of replicated socialist realism. For example, the Lobanov's paired portrait of Stalin and Voroshilov was possibly inspired by the well-known portrait of soviet painter Alexander Gerasimov. More explicit example of usage the established iconography is the portrait of Stalin and

Gelya Markizova – an image from a photograph of 1936, which was replicated many times by a mass of propaganda. From this drawing by Lobanov, it is noticeable that he retains the main formal characteristics (appearance, details of clothing), but added several fantastic details: pink fields in the background, symbols of statehood (coats of arms and stars) and anchors on the frame.

Lobanov often watched films (there was a practice of showing films in the hospital), and the rotation of films was tiny, and the same films were shown many times. Lobanov appropriated visual codes of ideology from Soviet cinema. For example, one of the drawings depicting "heroic" motifs has a signature referring to the 1936 film "We are from Kronstadt". Lobanov repeated the main plot and composition, removed the "superfluous" character, and vice versa

¹¹⁶ *Pisch A. Op. cit. P. 180.*



*Aleksander Lobanov. Stalin and Gelya Markizova. 1970s.
Paper, mixed media. 42 x 29 cm.
Private collection*



*Stalin and Gelya Markizova. 1936.
Photo. Public domain https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gelya_Markizova.jpg#/media/File:Erbanov_Markizova.JPG*

some details that enhance the symbolic meaning appear in the composition. These symbolic motifs are placed on the right side of the drowning and provide some historical overview of the weapons: a tank, a machine gun, civil war times, revolvers, and a rifle. Thus, Lobanov appropriated the most “powerful” images that were part of a Soviet narrative. Lobanov didn’t redraw accurately the composition of the poster but removed the gray-haired hero (Lobanov had a rather stereotypical iconography of the hero of his paintings – he didn’t depict people with the features of old age).

The totality of ideology also determines the formal language of Alexander Lobanov’s drawings. He borrowed many stylistic characteristics of the visuality of Soviet culture. One of the characteristic markers of Soviet visual propaganda was a repetition, clichédness of images, and stylistic techniques, this concerned compositional schemes, specifics of tonal and color solutions of illustrations and posters. The repetitiveness of a formal solution is one of Lobanov’s



Aleksander Lobanov. Mologa Sacha Lobanov The Vision of movie The Sailors of Kronstadt... 1970–1980s. Paper, mixed media. 29,5 x 42 cm. © Collection INYE

recognizable techniques: the same elements constantly appear, depicted in a repetitive way. The heroes of Lobanov’s drawings are always in the same perspective, their bodies and faces are motionless. According to Anstette, this may be a manifestation of psychopathology¹¹⁷. But this technique is equally noticeable in artworks of professional designers and illustrators of “mass production” of the Stalinist period¹¹⁸.

Another unifying aspect of Soviet visuality and Lobanov’s work is the combination of text and image in composition. Soviet posters, illustrated instructions, illustrations in magazines (accessible to a patient at the Afonino psychiatric hospital) combined text and images. Preaching and narrative – a characteristic feature of Soviet agitprop borrowed by Alexander Lobanov for his works. Moreover, the text in a image has the intention of power, it commands, prompts to action, and normalizes human behavior. For Lobanov, the text becomes one of the important elements of his drawings, sometimes occupying up to a quarter of the surface of the sheet and has a compensatory character: the mute artist thus finds a voice in the theater of social drama.

¹¹⁷ *Anstett E.* Op. cit.

¹¹⁸ *Bown M.* Op. cit.



Aleksander Lobanov. Untitled. 1970s. Paper on cardboard, ink, watercolor. 19 x 25,5 cm. © Collection INYE

The visual and narrative rhetoric texts in Lobanov’s artworks stylistically imitate the imagery and verbal constructions of Soviet posters and instructions. Most of these “instructive” Lobanov’s drawings are devoted to the handling of weapons; the structure of the texts and their rhetoric repeats the inscriptions on Soviet posters and often includes references to oneself and personal memories: “KEEP AWAY WEAPONS AND AMMUNITION FROM CHILDREN”; “LOBANOV DRAWING, TO WRITE WELL”; “IT IS NOT DANGEROUS FOR PERSONS TO HANG ON THE FENCE BETWEEN THE FENCE. LONG IT WAS 1939. “[spelling and punctuation of the author retained – A.S.]. These explanatory texts were created in the specific author’s spelling and punctuation, due to the level of literacy of the outsider artist, the impossibility of training due to the specificity of the medicalization of the person during the Soviet period.

The typography used by Alexander Lobanov is close to the style of the printing type of the Soviet instructions and educational posters – it is an exaggerated sans-serif (the general name for a group of sans serif pins with equal thickness of vertical, diagonal, and horizontal elements), hand-drawn by the outsider artist.



*Aleksander Lobanov. I. V. Stalin.
1970–1980s. Paper, mixed media.
29,5 x 20 cm. © Collection INYE*

The compositional structure of Lobanov’s “instructive” drawings is also close to the formal schemes of Soviet mass visual propaganda of the mid-twentieth century: a clear separation of the field of drawing and text, a depiction of key details, the thoroughness and objectivity of the drawing.

Artificiality and imitating of Lobanov’s drawings are also associated with the visual rhetoric of the Soviet era. These qualities coincide with the visual rhetoric of visibility of mass visual production: didactically drawn, realistic, but not “living” posters, and photographs retouched to the state of the painting. The visibility of Lobanov’s drawings

is close to this art imitation: the images are very detailed, but at the same time devoid of the energy of movement, plasticity, and spontaneity of art. Artificiality and imitation Alexander Lobanov’s artworks are exaggerated via ornamentation of drawing frames: flowers, arabesques, ornamental stripes sometimes occupy more than half of the image. This visibility is associated with market mass visual production, kitsch portraits, and pictures sold in the bazaar. The semantic colored symbols and elements of the compositions are set up by an outsider artist according to the principle of endless double, repeating fractals in frames and in the background of drawings. The serial nature of Lobanov’s drawings may be analyzed in the same logic.

The totality of ideology does not allow to speak about the absolute exclusion of Soviet outsider artist. Meanings and visual narratives penetrate the world of the “Others” through posters, postcards, instructions, slogans, films. Ideological narratives, penetrating isolated communities, turn out to be functional, they were borrowed

and adapted for their own purposes, for example, they allowed constructing a dominant image in the theater of social representation. The most powerful and influential narratives of the Soviet era were militarism, images of heroes and leaders, as well as the specific visual language of Soviet visual propaganda: rehearsal, imitation, and using of text.

In the case of Alexander Lobanov, the specificity of personal experience and attitude influenced the construction of imagery and its production (the tendency to intellectualize compensatory mechanisms, the desire for narrative images due to deaf-dumbness).

РАЗДЕЛ III.

Коллективная память русской эмиграции

ГЛАВА 6.

Революция и Гражданская война в памяти русских военных эмигрантов во Франции в 1920–1930-е годы: формирование и трансформации нарратива

Российская военная диаспора во Франции образовалась в первой половине 1920-х годов, хотя процесс формирования военной эмигрантской колонии в этой стране был значительно растянут во времени; например, в Париж приезжали русские эмигранты вплоть до конца 1930-х годов. Париж как центр сосредоточения политической и культурной жизни русских эмигрантов традиционно остаётся и одним из основных объектов внимания исследователей истории русской эмиграции. Значительно меньше внимания в литературе уделяется южной Франции, также являвшейся одним из мест поселения выходцев из России. Между тем, если центр Франции и Париж привлекали внимание представителей русской политической и культурной элиты, офицеров сухопутных сил белых армий, на север страны перебирались в поисках заработка на промышленных предприятиях инженеры и рабочие¹¹⁹, то в ряде городов юга Франции сформировалась диаспора, основу которой составили морские офицеры бывшего Императорского флота и Вооружённых сил Юга России. Это не очень многочисленное, но сплочённое и устойчивое эмигрантское сообщество до сих пор нечасто становилось объектом специального изучения¹²⁰. Между тем само

¹¹⁹ Пивовар Е. И. Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в культурно-историческом наследии. М. : РГГУ, 2008. С. 545.

¹²⁰ Климутин В. А. Российская военно-морская эмиграция в 1920–1930-е годы : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Климутин Валерий Ана-

это сообщество и его традиции культурной памяти о революции и Гражданской войне в России имеют некоторые особенности, на наш взгляд, способные дать ответ на вопрос о том, почему историческая память о родине не столько сближает русскую диаспору с Россией, сколько отталкивает от неё.

Среди городов южной Франции, мест расселения русских военных эмигрантов, следует в первую очередь упомянуть Ниццу, Канны, Тулон и Марсель. В настоящей публикации мы будем ориентироваться на географические границы тулонской городской агломерации (Тулон – Йер – Ла-Сейн-сюр-Мер) в 1920–1930-х годах как один из таких центров русской эмиграции.

Хронологические рамки исследования охватывают исторический период между двумя мировыми войнами. Дата нижнего рубежа связана с прибытием в Тулон первой группы русских военных эмигрантов и началом формирования русской колонии в 1921 году. Верхняя граница исследования ограничена датой начала Второй мировой войны, когда меняется внешне- и внутривосточная и экономическая обстановка, повлиявшая на жизнедеятельность русской общины.

В 1920-е годы этот город становится пристанищем для многих семей русских дворян и бывших офицеров Императорской армии и Военно-морского флота. Несмотря на отсутствие исторической общины русских эмигрантов, удалённость от главного французского центра русской эмиграции – Парижа, а также географическое положение Тулона, портового города, который многие считали только транзитным пунктом, в межвоенный период в городе сформировалась русская военная диаспора, внёсшая свою лепту в формирование Тулона как одного из центров русской эмиграции и оставившая своё материальное и культурное наследие¹²¹.

тольевич; науч. рук. В. Ф. Ершов ; МГУС Москва, 2006. С. 194; *Кузнецов Н. И.* Русский флот на чужбине. М. : Вече, 2009. С. 464; *Емелин А. Ю.* Русская эскадра. Прощание с Императорским флотом / А. Ю. Емелин, В. В. Крестьянников, Н. А. Кузнецов ; под ред. А. Ю. Емелина. М. : Арт Волхонка, 2015. С. 407.

¹²¹ *Рудковская М. М.* Русская эмигрантская община в Тулоне в 1920–1930-х годах: формирование и состав // Научный диалог. 2018. № 12. С. 405–418.

Условия формирования нарратива

Несмотря на желание и намерения русских военных моряков найти себе на новом месте жительства службу или работу в соответствии с профессиональными навыками и самоидентификацией (вполне вероятно, на это и надеялись бывшие офицеры Императорского флота, приезжая именно в Тулон), ни обстоятельства, ни французские власти им такой возможности не предоставили. Лишь немногие из военных офицеров-эмигрантов сумели получить рабочие места на судах коммерческих компаний (например, в известной марсельской компании «Мессажери Маритим»). Подавляющее большинство офицеров-эмигрантов зарабатывало себе на жизнь, трудясь неквалифицированными сельскохозяйственными рабочими, фермерами, водителями, служащими на заводах и фабриках.

Условия жизни и труда русских эмигрантов в Тулоне в начале 1920-х годов были весьма сложными, несмотря на то, что большинство было обеспечено какой-либо работой в первые же месяцы пребывания в городе. Генерал-майор Александр Иванов поступил рабочим в механические мастерские Брюне в отдалённом пригороде Тулона¹²², лейтенант Георгий Гассовский, дававший «уроки музыки (пианино), но пока их лишь два...», констатировал, что этим трудом не может «пока и себя прокормить»¹²³. Капитан 1-го ранга Михаил Казимиров обратился за советом и помощью относительно возможного переезда на юг Франции к последнему Морскому министру, адмиралу И. К. Григоровичу, проживавшему в середине 1920-х годов в местечке Тамарис в окрестностях Тулона, в прошлом командиру эскадренного броненосца «Цесаревич», где автор письма служил вахтенным офицером: «...Если бы мне... оказалась возможность и на деле, как бывшему офицеру “Цесаревича”..., получить какую-нибудь службу у “F. et Ch.” или в порту, то я, разумеется, счёл бы себя блестяще устроенным. Для каперанга, занимавшегося в своё время изучением морской администрации, защищавшего диссертацию о портовом управлении

¹²² Je dis tout (Toulon, 1921), 7 août.

¹²³ ГА РФ. Ф. Р5903. Оп. 1. Д. 497. Л. 97.

и почти уехавшего в 1914 году в Ecole Supérieure de la Marine¹²⁴ для усовершенствования своих познаний, было бы к тому же и полезно послужить в порту в качестве рабочего...»¹²⁵.

Следует заметить, что речь идёт не об обычных строевых офицерах сухопутных сил, большая часть которых получила свои погоны относительно недавно, в годы Первой мировой войны; кадровые офицеры Военно-морского флота в Российской империи были и оставались немногочисленной, привилегированной и замкнутой кастой, обладавшей высоким социальным статусом и высоким жалованьем. Контраст от резкой перемены статуса для них был разительным.

В тяжелейших условиях быта, труда, отсутствия постоянной работы, болезней, адаптации к новому месту проживания память о прежнем социальном статусе, об активности и о прошлом становилась своего рода моральным и психологическим «якорем» для сохранения собственной идентичности и побуждающим фактором для социальной активности внутри эмигрантской общины. Профессиональная самоидентификация, корпоративная идентичность и сохранявшиеся корпоративные связи кадровых морских офицеров становились инструментами обеспечения устойчивости офицерского сообщества. Совместные коммеморативные практики позволяли проявить групповую идентичность и, в свою очередь, обеспечить её воспроизводство. Таким образом, индивидуальная и групповая память представителей офицерского сообщества в условиях радикального изменения статуса приобретала роль движущей силы и морально-психологического фактора сохранения профессиональной и корпоративной идентичности, объясняя причины нынешнего состояния, давая осмысленное, комплиментарное оправдание настоящему, мотивируя и демонстрируя перспективу.

Структура нарратива и его трансформации

С середины 1920-х годов, в связи с признанием Францией советского государства, становится понятно, что немедленное возвращение откладывается; в семьях эмигрантов подрастают

¹²⁴ Ecole Supérieure de la Marine (Высшая Морская школа) — инженерная школа во Франции, занимающаяся подготовкой офицерских кадров для торгового флота.

¹²⁵ ГА РФ. Ф. Р5970. Оп. 1. Д. 49. Л. 7-7об.

дети, а сами они постепенно стареют. Размышляя о будущем своих детей, капитан 1-го ранга А. Длусский, поселившийся с семьёй в тулонском пригороде Тамарис и вынужденный зарабатывать себе на жизнь изнурительным сельскохозяйственным трудом, писал военно-морскому агенту в Париже, капитану 1-го ранга В. И. Дмитриеву: «Грустно думать, что за наши ошибки должны платить дети и у них будет отнята возможность подняться до уровня, которого они заслуживают. ... Пусть мы ответим за свои дела, но дети ни при чём, из них нужно сделать будущих граждан, достойных будущей свободной России. Французами они у меня не станут. ... я верю, что им придётся работать в России и туда они должны вернуться... для жизни, чтобы занять своё место»¹²⁶.

Данное обстоятельство — важный мотив и причина к трансформации нарратива, теперь это уже не только воспоминания личного характера между ветеранами боевых действий, это и воспитание, и передача опыта будущему поколению, собственно детям в узком смысле слова и будущим поколениям русских людей вне России в широком смысле.

Специфической и немаловажной частью анализируемого нарратива стала литературно-научная деятельность офицеров-эмигрантов в рамках организованных ими кружков, союзов (например, Военно-морской исторический кружок имени адмирала А. В. Колчака) и печатных органов. По текстам воспоминаний, докладов, научных статей, создававшихся русскими военными эмигрантами, можно проследить этапы формирования формализованного нарратива о революции и Гражданской войне. Если на первом этапе, в публикациях первых лет в эмиграции речь идёт о непосредственной фиксации личного опыта участия в боевых действиях, то на втором этапе (конец 1920-х годов) можно наблюдать теоретическое осмысление накопленного опыта с точки зрения военной науки — для будущего белого флота, для будущего русского флота¹²⁷. Третий этап формирования нарратива, который можно проследить по

¹²⁶ ГА РФ. Ф. Р5903. Оп. 1. Д. 24. Л. 23-23об.

¹²⁷ Рудковская М. М. Великая война в русской военно-морской эмигрантской литературе // История. Общество. Политика. 2019. № 3 (11). С. 58–64.

текстам, отражает философское осмысление значения белой борьбы, себя, своего места в осмысляемом прошлом и своего рода канонизация этого опыта, этой борьбы и её участников.

Примерно с конца 1950-х годов, когда происходит смена поколений, когда уходит из жизни и активной деятельности подавляющее большинство представителей первого поколения русской военной эмиграции, основные каноны исторической памяти о революции и Гражданской войне можно считать сформировавшимися, далее они воспроизводятся в рамках культурной памяти с помощью имеющихся внутри диаспоры публикационных техник и коммеморативных практик.

Таким образом, одной из характерных особенностей исследуемого нарратива можно считать постоянный интерес к сохранению национальной памяти о России, в первую очередь к актуальным историческим событиям недавнего прошлого. Носители этого нарратива – участники и непосредственные свидетели описываемых событий. Для представителей военной эмиграции это имело колоссальное значение, так как их профессиональная идентификация была связана с отношением к революции 1917 года и участием в боевых действиях на фронтах Гражданской войны.

В революции многие эмигранты предпочитали видеть кризис власти, а не национального сознания, продолжая жить верой в возможность скорого возрождения России. Реальными проявлениями патриотизма были готовность к служению своей Родине, что доказало, с их точки зрения, их участие в Гражданской войне, и деятельная заинтересованность в настоящем и будущем, о которой свидетельствует их забота о воспитании подрастающего поколения.

Разрыв с советской Россией не воспринимался как разлука с Отечеством, так как того Отечества, к которому они принадлежали и которому служили, в России уже не существовало. Поэтому и пребывание на чужбине рассматривалось ими не столько как эмиграция из Отечества, сколько как возможность сохранить верность ему.

Эмигрантское сообщество 1920–1930-х годов было объединено одной общей задачей – сохранением исторической памяти о дореволюционной России и передаче её последующим

поколениям. Как отмечает И. В. Сабенникова, «российская эмиграция породила особый культурный тип, связанный со стремлением людей сохранить представления о мире в условиях, когда этот мир уже перестал существовать как реальность и сохранялся лишь в социальной памяти, религиозных ценностях, культурных традициях, литературных произведениях, языке»¹²⁸. Заметим, однако, что в системе эмигрантского мировоззрения сохранение этих традиций не было лишь данью прошлому: историческая память являлась отправной точкой для настоящего и будущего «другой», небольшевистской России, которую олицетворяла эмиграция.

«Русские места памяти»¹²⁹ в Тулоне и тулонском регионе

Память о России для офицеров-эмигрантов, проживающих в Тулоне и тулонском регионе, как и во многих других, для военных эмигрантов была связана прежде всего с их личным социальным и профессиональным опытом. Данный опыт касался в первую очередь событий Первой мировой и Гражданской войн. Потребность фиксации собственного опыта

¹²⁸ Сабенникова И. В. Российская эмиграция (1917–1939): сравнительно-типологическое исследование. Тверь : Золотая буква, 2002. С. 5.

¹²⁹ «Место памяти» (фр. lieu de mémoire) — понятие, введённое французским учёным Пьером Нора в начале 80-х годов XX века. Оно воплощает в себе единство духовного и материального, которое со временем и по воле людей стало символическим элементом наследия национальной памяти общности. Места, в которых, по мнению Пьера Нора, воплощена национальная память, — это памятники (культуры и природы), праздники, эмблемы, торжества в честь людей или событий, прощальные, погребальные речи, похвальные слова. Главная функция мест памяти — сохранять память группы людей. Местами памяти могут стать люди, события, предметы, здания, книги, песни или географические точки, которые «окружены символической аурой». Их главная роль — символическая. Они призваны создавать представления общества о самом себе и своей истории. Важной характеристикой мест памяти является то, что они могут нести разные значения и что это значение может меняться. Источниками для изучения мест памяти являются тексты, картины и предметы, которые дают информацию об определённом событии, человеке или идее. Источниками могут стать, например, памятники исторической мысли, газетные статьи об открытии памятников, политические доклады, прочитанные на исторических юбилеях, живопись на исторические сюжеты, предметы повседневной жизни.

Гражданской войны и изгнания, который воспринимался как часть альтернативного исторического пути России, сформировалась в русском зарубежье уже к концу 1920-х годов, когда стали появляться многочисленные письменные свидетельства эмигрантов, к которым мы можем, прежде всего, отнести литературные и публицистические труды морских офицеров-эмигрантов, чьи имена связаны с русской колонией Тулона, а именно капитанов 1-го ранга А. В. Городыского и М. В. Казиминова¹³⁰.

Историко-культурная деятельность русских эмигрантов включала в себя создание частных и общественных музеев, организацию выставок, сохранение культурных ценностей, вывезенных из России¹³¹. Уже в первые годы изгнания русские эмигранты создали музейно-выставочные центры, архивы и библиотеки, в которых собирались памятники искусства и культуры, документальные материалы, отражающие как историю дореволюционной России, так и различные аспекты эмигрантской жизни.

Данный компонент историко-культурной деятельности русских военных эмигрантов 1920–1930-х годов нашел своё выражение в героизации белого дела, включавшей коллекционирование реликвий и архивов эпохи Первой мировой

¹³⁰ *Рудковская М. М.* Первая мировая война в воспоминаниях морских офицеров – участников боевых действий: опыт текстологического анализа (на материале «Записок военно-морского исторического кружка им. адмирала А. В. Колчака») // *Россия в Первой мировой войне: анализ события сквозь призму письменных источников и произведений искусства.* Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет, 2015. С. 295–304; *Рудковская М. М.* Русские морские офицеры в эмиграции. Михаил Васильевич Казимиров (краткий очерк жизни и творчества) / М. М. Тимон-Рудковская // *Дальняя Россия : Поэзия, проза, история, очерки, архивы, научные статьи, эссе, обзоры, воспоминания, хроника, путешествия.* Приморский краеведческий альманах. Научно-публицистическое издание / Дальневосточный федеральный университет. Владивосток : Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) Филиал ДВФУ в г. Уссурийске, 2015. С. 104–107.

¹³¹ *Муромцева Л. П.* Историко-культурная деятельность российской эмиграции во Франции в 1920–1930-е гг. // *Вестник Московского университета.* Серия 8 : История. 2012. № 1. С. 92.

и Гражданской войн¹³². Так, например, члены группы Военно-морского союза собрали в своей кают-компании в Марселе живописные полотна с изображениями сражений парусного флота, морских битв времён Первой мировой войны, а также портреты российских императоров и знаменитых адмиралов, предметы корабельной обстановки¹³³.

Обстановка квартир военных эмигрантов по мере возможности также напоминала о прежней жизни: фотографии, иконы, портреты императоров и военачальников. Эмигранты стремились сохранить любые предметы, связанные с родиной. В своём письме-рапорте в штаб Русской эскадры капитан 1-го ранга А. В. Городынский сообщал, что, покидая транспорт «Рион», «священник о. Павел Вороновский взял с собой священные предметы церкви. Судовой образ Смоленской Божией матери и кормовой транспортный флаг хранятся у меня»¹³⁴. По устным свидетельствам потомков русских эмигрантов, впоследствии названный флаг хранился в семье генерал-майора Беркалова: в конце 1930-х годов Беркаловы открыли в тулонском пригороде Ла Фарлед небольшой русский ресторан, в интерьере которого посетители могли видеть флаг с военного транспорта «Рион»¹³⁵.

Кроме того, например, военные эмигранты, проживавшие в Тулоне, будучи сами участниками военных событий 1914–

¹³² Богатырёва Л. В. Русская эмиграция о Гражданской войне 1917–1922 годов / Л. В. Богатырёва, П. Н. Базанов // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2018. Т. 19, № 1. С. 23–31; Муромцева Л. П. Память о событиях Первой мировой войны // Первая мировая война – пролог XX века : Материалы международной научной конференции (Москва, ИВИ РАН – МГУ им. М. В. Ломоносова – МГПУ, 8–10 сентября 2014 г.). Часть II / Отв. ред. Е. Ю. Сергеев. Москва : ИВИ РАН, 2015. С. 269–276; Муромцева Л. П. Первая мировая война в памяти российской эмиграции // Россия и современный мир. 2014. № 4 (85). С. 155–165; Муромцева Л. П. Деятельность российской эмиграции по сбережению реликвий Первой мировой и Гражданской войн // История Гражданской войны в России 1917–1922 гг. : Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 24–25 мая 2016 года). М. : ЦМВС РФ, 2016. С. 318–325.

¹³³ Кают-компания в Марселе (от редакции) // Часовой. 1932. № 72. С. 27.

¹³⁴ ГА РФ. Ф. Р5903. Оп. 1. Д. 81. Л. 82.

¹³⁵ Entretien avec M. Youry Klimoff (Toulon, 2013), 17 mai.

1918 годов, свято чтители память о русских солдатах и офицерах, погибших в годы Великой войны: они ухаживали за могилами русских воинов, похороненных на кладбищах в Ла-Сейн-сюр-Мер и Сен-Мандрие, ставшие для них своего рода «местами памяти» о покинутой родине. В годы Первой мировой войны в Ла-Сейн располагался русский госпиталь¹³⁶. Могилы 31 солдата и офицера Русского экспедиционного корпуса находятся на специальном участке сейнского городского муниципального кладбища: «Квадрат 11. Русско-французский военный мемориал». Мемориал был создан в 1922 году по инициативе городских властей и при участии регионального отделения французской «Ассоциации комбатантов Великой войны». Все русские могилы были украшены уникальными литыми крестами в виде шпаги (так называемые «русские кресты») и табличками с гравировкой «Mort pour la France» («Погиб за Францию»). Кладбище сильно пострадало от бомбардировок в годы Второй мировой войны, однако «русский угол» сохранился. В 1999 году была проведена реконструкция данного участка кладбища, обветшавшие могильные памятники прошлого века были заменены новыми, современными и типовыми¹³⁷.

Некрополь в Ла-Сейн не единственный в регионе, где были похоронены русские военные, участники Первой мировой войны. Русские могилы присутствуют также и на кладбище центрального военно-морского госпиталя в Сен-Мандрие. Здесь на линии «G» покоятся останки 18 русских воинов, павших за Францию: 17 солдат Русского экспедиционного корпуса и один морской офицер¹³⁸.

Представители русской общины были хорошо осведомлены о местонахождении данных объектов русской воинской

¹³⁶ *Marcellesi D.* Soins des malades et des blessés à La Seyne: institution de la Sainte-Marie et l'hôpital russe // Regards sur l'histoire. Traces et mémoire de la Grande Guerre sur le front occidental et le front d'Orient. Var. 2015. № 15. P. 18–24.

¹³⁷ *Domange Y.* Les croix-épées dites russes des monuments aux morts des communes du canton de Reignier. URL: <https://www:la-saleviennne.org> (дата обращения: 05.12.2017).

¹³⁸ *Pelliyard J.-F.* Extraits militaires russes des Archives de l'hôpital de Saint-Mandrier. Tapuscrit. Toulon, 2005. 30 p.



Русский военный некрополь, Ла-Сейн-сюр-Мер, 2016 г.¹³⁹

славы и памяти, о чём свидетельствуют соответствующие архивные документы. Согласно выписке из протокола заседаний Церковного совета русской церкви Воскресения в Тулоне от 13 мая 1937 года, прихожане заботились об организации ежегодной панихиды на русском военном кладбище в Ла-Сейн: «Отслужить в воскресенье 16 мая в четыре с половиной часа. Сбор у церкви, выше пристани...»¹⁴⁰. В среде военных эмигрантов присутствие на данном мероприятии, фиксация и распространение памяти о нём считались особой формой выражения профессиональной и национальной идентичности.

Важно отметить, что в изучаемом регионе вся культурно-историческая, образовательная, воспитательная работа русских военных эмигрантов велась при тулонском православном храме Воскресения, основанном в 1928 году. Она в значительной степени воспроизводила соответствующие элементы русского дореволюционного общества: лекторий, библиотека, театр, хор, оркестр народных инструментов, благотворительные и

¹³⁹ Фото из личного архива авторов.

¹⁴⁰ Archives Paroissiales de l'Église. Procès-verbaux des réunions du Conseil de l'administration (1937).

мемориальные акции. Значение данной деятельности состоит в том, что она давала «культурную пищу» сообществу образованных людей, вынужденных жить вдали от родины и заниматься тяжёлым физическим трудом. Регулярные совместные культурно-образовательные и коммеморативные проекты русских военных эмигрантов в Тулоне способствовали консолидации офицеров в условиях изгнания.

Таким образом, можно сказать, что радикальная трансформация российского общества и государства и связанная с этим вынужденная эмиграция привели не только к социальной деградации изучаемого сообщества по отношению к внешней среде принимающего общества, но также и к внутреннему кризису. Историческая память этой социальной группы стала инструментом преодоления последнего. Потеря профессионального статуса, изменение уклада привычной жизни, потеря имущества, материальные проблемы, семейные драмы, разрыв родственных и социальных связей — часть их коллективной травмы — трансформировались в культивирующее отношение к «героическим» событиям прошлого, постоянное поддержание памяти о нём, а формирующийся нарратив стал опытом переживания данной травмы. Если в нарративе первых заграничных лет первого поколения военных эмигрантов — непосредственных участников вспоминаемых событий — центральное место занимают истории, связанные с переживанием личного опыта участия в боевых действиях, то в поле внимания последующих поколений оказывается не само событие (революции и Гражданской войны), а память о месте и роли этого события в групповой и семейной биографии; возможности интерпретаций резко сужаются до немногочисленных вариантов, получивших в сообществе статус канонизированных.

Подводя итоги, можно отметить, что историко-культурная деятельность по сохранению и распространению памяти о России занимала важное место в общественной жизни русских военных эмигрантов Тулона в 1920–1930-е годы. Несмотря на небольшой количественный состав членов общины, они не только включились в социально-экономическую жизнь города, продемонстрировав отличные профессиональные качества, но также оставили о себе духовную память, художествен-

ное, литературное и публицистическое наследие. Культура создания и сохранения мест памяти в среде русских военных эмигрантов Тулона была связана, в первую очередь, с их личным опытом участия в военных событиях Первой мировой войны. С одной стороны, речь идёт о необходимости фиксации пережитых событий с целью осмысления и передачи знаний о данном опыте современникам и потомкам, а с другой – данная деятельность стала возможностью преодоления травматических событий, связанных с начавшейся Гражданской войной и последующей вынужденной эвакуацией из России.

Большую роль в политике памяти о России в жизни русских эмигрантов Тулона, как и многих других русских общин, занимали религиозные коммеморативные практики, о чём красноречиво свидетельствуют сохранившиеся архитектурные памятники, архивные коллекции, публицистическое наследие, представляющие не только строго научный интерес, но также культурный, общественный, экономический. Историческую значимость данных документов и мемориальных мест важно оценить и осознать, в том числе в связи с необходимостью осмысления роли русской эмиграции не только в сохранении внутренней культуры локальной общины, но и ее вклада в развитие культуры и экономики изучаемого региона.

В рамках данной культурно-исторической деятельности русские беженцы создали особую социокультурную среду, связанную с желанием людей сохранить мировоззрение и образ жизни, которых больше не существовало в реальности и которые сохранялись исключительно в социальной памяти, религиозных ценностях, культурных традициях и языке. Сохраняемая эмигрантами русская национальная идентичность превратилась в мощный ресурс социальной общности. Прежде всего, она определяла потребность в самобытности и обеспечивала принадлежность к конкретной социальной группе.

ГЛАВА 7.

Эхо коммеморативных практик российского послереволюционного литературного зарубежья в России и за её пределами

Научный анализ процессов запоминания и воспроизведения информации изначально был прерогативой психологии, и долгое время исследователи концентрировались на изучении кратковременной памяти¹⁴¹. До сих пор в психологии ей посвящено значительно больше исследований, чем долговременной и, тем более, автобиографической памяти. Оформлению современного Memory Studies, институционализация которого происходила лишь в 2000-х годах, способствовало обращение к теме памяти в 1920–1940-х годах представителей сразу нескольких дисциплин: социолога Мориса Хальбвакса, искусствоведа Аби Варбурга, философа Вальтера Беньямина и психолога Фредерика Бартлетта¹⁴². Тогда же исследователи заговорили о коллективной памяти.

В современной исследовательской практике прочно укрепилось понятие «коммеморации» как сохранения в общественном сознании памяти о значимых событиях прошлого или внешнем выражении коллективной памяти. Исследователи сходятся во мнении, что коммеморация возникает в настоящем «из желания сообщества, существующего в данный момент, подтвердить чувство своего единства и общности, укрепляя связи внутри сообщества через разделяемое отношение к репрезентации прошлых событий»¹⁴³. «Между знающими и незнающими, — писал Дмитрий Мережковский, — черта, подобная черте смерти: живые — мёртвых, мёртвые живых не

¹⁴¹ *Habermas T.* Die Entwicklung autobiographischen Erinnerens im Erwachsenenalter // Entwicklung im Erwachsenenalter. Enzyklopädie Psychologie, Serie V, Band 6 / Ed. : F. Heidrun, U. Staudinger. Germany : Hogrefe, 2005. P. 683.

¹⁴² *Сафронова Ю. А.* Третья волна memory studies: Двадцать три года против шерсти // Политическая наука. 2018. № 3. С. 12–27.

¹⁴³ *Мегилл А.* Историческая эпистемология. М. : Канон+ ; РООИ «Реабилитация», 2007. С. 116.

разумеют. Между нами и вами — стена стеклянная. Вы видите, слышите, но не осязаете главного. Главное свойство того, что сейчас происходит в России — немота, несказанность, неизречённость ужаса»¹⁴⁴. Как будет показано далее, это «знание» как понимание произошедших в России перемен и память о пережитых событиях начало приобретать разные коммеморативные формы сразу после отъезда литераторов.

Предварительный анализ позволил установить, что в коммеморативных практиках зарубежья обозначаются две основные категории. Первая, наиболее изученная, представляет собой воспроизведение «России в миниатюре» с помощью создания (и, отчасти, восстановления) системы образования, научных институтов и обществ, сети издательств и органов периодической печати, продолжения русских традиций в различных жанрах искусства, складывания инфраструктуры русских зарубежных архивов, музеев, библиотек и др.¹⁴⁵ Входящие в этот вид практики были основаны на желании приспособиться к новым условиям жизни, восстановить утраченную идентичность (или даже сделать один из компонентов прежней идентичности более значимым, чем он был до отъезда)¹⁴⁶ и поддерживались противопоставлением зарубежного мира советскому. Роман Гуль так описывал это коллективное ощущение: «А я с собой мою Россию / В дорожном уношу мешке». Прочтя, я ощутил совпадение чувств. Стало-быть у Ходасевича тоже было ощущение «уноса» подлинной России, навсегда и необратимо канувшей в Лету, как бывшая Эллада. Ведь в СССР у большинства населения разрушена память о прошлой России, отняты ее традиции, отнята мысль, слово и духовно

¹⁴⁴ *Мережковский Д. С.* Царство Антихриста. Большевизм, Европа и Россия // Царство Антихриста: Третья и четвертая тысяча. М. : Кучково поле, 2017. С. 26.

¹⁴⁵ *Попов А. В.* Архивная россика во Франции и российско-французское архивное сотрудничество // Вестник РГГУ. Серия: Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная безопасность. 2015. № 2 (145). С. 129.

¹⁴⁶ *Гусефф К.* Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920–1939 годы) / Катрин Гусефф ; пер. с фр. Э. Кустовой. М. : Новое литературное обозрение, 2014. С. 279.

советское население омертвело: «мёртвые молчат, и живые молчат, как мёртвые»¹⁴⁷.

Фактически эту группу составляют практики вспоминания дореволюционной России, и главной их чертой явилась общность взглядов на прошлое (к которым, например, относились обозначенные многими литераторами положительные, воодушевляющие примеры культурного и научного подъёма¹⁴⁸, или устойчивые понятия об эстетике и социальных нормах, разрушенных во время Октября).

Во второй группе практик запечатлелись переживания революционных событий, причины и последствия отъезда. Память о них гораздо сложнее и разнообразнее по многим причинам. Значительный вклад в разрозненность и нестабильность этих практик внесло различие в представлениях о забвении: в особенности его восприятие как «дара» или желание забыть переживания, связанные с эмоциями вины и стыда. Но наиболее важным оказывалось отсутствие сформированности *единого взгляда на прошлое* как переживание травматических событий, вынужденный отъезд и адаптацию, который, как правило, и должен стать основой коммеморации (и одного признания катастрофичности произошедшего недостаточно).

Объединяющие и разъединяющие взгляды на прошлый опыт

Разумеется, общие представления о процессе эмиграции и новом положении имелись. Исследователь российского зарубежья во Франции Катрин Гусефф подробно рассматривает, как упрощались со временем и приобретали единообразие рассказы о путях отъезда из России¹⁴⁹. Автор также говорит о

¹⁴⁷ Гуль Р. Я унёс Россию: Апология эмиграции : В 3 т. Т. 2. Россия во Франции / Р. Гуль ; предисл. и развёрнутый указ. имен О. Коростелёва. М. : Б.С.Г.-Пресс, 2001. С. 72.

¹⁴⁸ См.: *Иванов Г. В.* Мемуары и рассказы / Сост. В. Крейд. М. : Прогресс-ЛитераМ, 1992. С. 25; Oral history interview with Nikolai Sergeevich Arsen'ev 1965 // Columbia University Libraries : [сайт]. URL: <https://dlc.library.columbia.edu/catalog/cul:69p8cz8z26> (дата обращения: 05.09.2021); Oral history interview with Irina Odoevtseva circa 1964-1966 // Columbia University Libraries : [сайт]. URL: <https://dlc.library.columbia.edu/catalog/cul:nzs7h44kvj> (дата обращения: 05.09.2021).

¹⁴⁹ *Гусефф К.* Указ. соч. С. 20.

формировании понятия «белая эмиграция», которое относит к достоянию коллективной памяти. «Во Франции, — замечает К. Гусефф, — это историческое наследие было общим для значительной части русской общины, что стало залогом её сплочённости и способствовало процессу унификации, в ходе которого сглаживались социальные контрасты между беженцами и стирались различия между историческими контекстами их отъезда из России»¹⁵⁰.

Однако в послереволюционной эмиграции отсутствовало, например, общее представление об объединяющей идентичности (что произошло: «изгнание»¹⁵¹ или «великий исход»?¹⁵² Кто они: «беженцы», «посланники»¹⁵³ или «эмигранты?»). Кроме того, представители литературного зарубежья не желали создавать общие модели «мировосприятия», что затрудняло объединение в группу. Этот вопрос поднимался, в частности, на заседаниях «Зелёной лампы». Идеи укрепления «евразийского мировоззрения», создания «единого Ордена», нацеленного на «выработку общего мировоззрения» (концепция, которую развивал Илья Фондаминский), не находили отклика в литературной среде. Николай Оцуп называл «поиски целостного мирозерцания» — «трагическим уделом каждого отдельного человека». Литератор подчёркивал, что создание целостной объяснительной модели ведёт к возможности оказаться в русле «коллективного сознания», смирению с нивелированием личности человека, как это произошло в большевистской России. Поддерживали его философы Николай Бердяев, выступавший против создания

¹⁵⁰ Там же С. 53.

¹⁵¹ *Струве Г. П.* Русская литература в изгнании: [Опыт ист. обзора зарубеж. лит.]; 2-е изд., испр. и доп. Париж: YMCA-press, 1984. С. 21; Зайцев Б. Изгнание // Русская литература в эмиграции. Сборник / Под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург: Питтсбургский ун-т, 1971. С. 3–6.

¹⁵² *Бунин И. А.* Публицистика. 1918–1953 гг. / И. А. Бунин; под общ. ред. О. Н. Михайлова; РАН, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: ИМЛИ РАН, 1998. С. 149.

¹⁵³ *Гиппиус З. Н.* Какой социализм? Какая религия? // Чего не было и что было. Неизвестная проза (1926–1930 гг.) / З. Н. Гиппиус; сост., вступ. статья, комментарии А. Н. Николюкина. СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2002. С. 414.

«коллективной философии поведения», приводящей к «идолопоклонству» и Фёдор Степун.

Дискуссия как форма памяти о прошлом

Применительно к российскому зарубежью в целом и к литературному сообществу в частности закономерно встаёт вопрос: в условиях тех обществ, где не достигнут определённый консенсус относительно общего прошлого, могут ли вырабатываться коммеморативные практики? И если да, то в чём их особенность?

Наиболее значимый вид ритуализированных коммемораций, названных Э. Дюркгеймом «имплицитными», представляет собой «паломничество» к «местам прошлого» (сотворения чудес, героических подвигов, смерти героя). По мнению П. Нора, можно выделить три смысловых обозначения понятия «места памяти» — место материальное, символическое и функциональное, — проявляющиеся в разной степени, при этом «даже место, внешне совершенно материальное, как, например, архивное хранилище, не является местом памяти, если воображение не наделит его символической аурой»¹⁵⁴.

По этому принципу несложно выделить действительные «места памяти», символическое значение которых поддерживалось литераторами, от созданных для повседневной жизни, интеграции в среду страны эмиграции, до поддержания своего имиджа и др. Чтобы на основе этого формировалась коммеморация, должна произойти некая идентификация себя и «места памяти», особенно если речь идёт о его официальной (институциональной) форме.

Приведём в пример одно из самых популярных эмигрантских изданий, газету Милюкова «Последние новости», которая, содержа огромное количество ретроспективного материала, должна была стать таким местом коллективной памяти и рефлексии. Однако в мемуарах Зинаиды Гиппиус отношение к ней определено в истории о сочинении куплетов одним из литераторов. «Последние Новости» и «Общее Дело» назывались

¹⁵⁴ Нора П. Франция-память / Пьер Нора [и др.] ; пер. с фр. Д. Хапаевой. Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1999. С. 7–50.

в них «Последним Делом» и «Общими местами»,¹⁵⁵ что свидетельствует о значительно сниженной значимости и сакральности этих изданий.

То же происходило и с рядом внутриэмигрантских и русско-французских (применительно к литературному зарубежью во Франции) творческих объединений, кружков и клубов¹⁵⁶. В противовес символическому значению «Зелёной лампы» и «Воскресений» Мережковских, можно назвать крайне прагматичное отношение к мероприятиям «Комитета помощи русскому писателям и учёным» («Comité de secours aux écrivains et aux savants russes en France»), Общества друзей русской словесности («Société des amis des lettres russes») и ряда других объединений¹⁵⁷. Однако само создание большого числа объединений, помимо нацеленности на решение финансовых вопросов, интеграции в культурную среду зарубежья или сохранения идентичности (например, «Союз Русских Дворян») может расцениваться как «изобретённая традиция»¹⁵⁸. Кроме

¹⁵⁵ *Gunnyc 3. H.* Застигнутая в пути // Чего не было и что было. Незвестная проза (1926–1930 гг.) / З. Н. Гиппиус ; сост., вступ. статья, комментарии А. Н. Николюкина. СПб. : ООО «Издательство «Росток», 2002. С. 477.

¹⁵⁶ См, например: *Прокопов Т.* Поэзия вечеринок и кружков // Иные Берега. 2013. № 1 (29). С. 122–133; *Коростелёв А. О.* Георгий Адамович о взаимоотношениях французской и русской литературы / О. А. Коростелёв // Русские писатели в Париже : материалы Международной научной конференции (Женева, 07–10 декабря 2005 года) / Сост. : Ж. Ф. Жаккар, А. Морар, Ж. Тассис. Женева : Русский путь, 2007. С. 152–162; *Livak L.* L'émigration russe et les élites culturelles françaises 1920–1925. Les débuts d'une collaboration. Émigrations au début du XXe siècle // Monde russe. 2007. Vol. 48, № 1. P. 23–43; *Дубровина Е.* Русская литературная диаспора во Франции. Межвоенный период // Новый Журнал. 2019. № 297. URL: <https://magazines.gorky.media/nj/2019/297/russkaya-literaturnaya-diaspora-vo-franczii.html> (дата обращения: 12.11.2021).

¹⁵⁷ *Муравлева Ю. В.* Русское влияние на культурную жизнь Парижа в первой трети XX века : дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 / Муравлева Юлия Валентиновна ; науч. рук. Е. В. Жбанкова ; МГИМО. Москва, 2016. С. 38–40.

¹⁵⁸ *Hobsbawm E.* Mass-Producing Traditions: Europe, 1870–1914 // The Invention of Tradition / E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). Cambridge : Cambridge University Press, 2000. P. 263–309.

того, даже на этих формальных площадках если и проходили дискуссии, то только на наиболее тревожащие литераторов темы. Так, например, на заседания Франко-русской студии¹⁵⁹ дискуссии были посвящены «Тревоге в литературе», «Проблеме Достоевского», «Взаимному влиянию современной французской и русской литературы»¹⁶⁰.

Разумеется, можно сказать, что для российского общества с 1927 года и по сей день местом памяти является кладбище Сент-Женевьев-де-Буа¹⁶¹. Но если по примеру некоторых исследователей расширить понимание «места» памяти, отбросив его пространственную характеристику, оставив духовное/эмоциональное сопричастие с сакрализованным прошлым¹⁶², мы вправе отнести в эту категорию критические статьи и воспоминания о скончавшихся поэтах.

Особенности «русской мемуаристики»

В историографии принято считать 1921 год началом «русской мемуаристики»¹⁶³. В этот год трагически ушли из жизни А. А. Блок и Н. С. Гумилёв. Поэт Сергей Маковский, один из редакторов парижской газеты «Возрождение», позже писал: «Они были «антиномичны», а русская действительность всё время их сталкивала. До последних лет соперничая, может быть, и не без взаимной зависти, они в тот же день ушли из жизни. Надо ли говорить, что это соревнование продолжается и после их смерти: русские стихолюбы до сей поры – или «блокисты», или «гумилисты»»¹⁶⁴.

¹⁵⁹ Дубровина Е. Указ. соч.

¹⁶⁰ Livak L. Op. cit.

¹⁶¹ Зайцев Б. К. О Шмелёве // Мои современники / Б. Зайцев ; сост. Н. Б. Зайцева-Соллогуб ; вступ. ст. Б. Филиппова. Лондон : Overseas Publications Interchange, 1988. С. 142.

¹⁶² Н. А. Антипин называет живых свидетелей события «местами памяти»: Антипин Н. А. 50-летие Русско-японской войны в СССР: коммеморативные практики 1954–1955 гг. // Диалог со временем. 2012. № 40. С. 80.

¹⁶³ Березовая Л. Г. Культура русской эмиграции (1920-1930-е гг.) // Новый исторический вестник. 2001. № 3. С. 120–173.

¹⁶⁴ Маковский С. Николай Гумилёв по личным воспоминаниям // Николай Гумилёв в воспоминаниях современников / Ред.-сост. В. Крейд. Париж, Нью-Йорк : Третья волна ; Дюссельдорф : Голубой всадник, 1989. С. 98.

Исследователи отмечают, что в жизни практически всех известных российских литераторов эти два человека сыграли свою роль, многие были знакомы с ними. «Естественной реакцией стало написание воспоминаний о них: следовало сохранить каждую крупицу памяти о великих людях России. Первая культурная потеря стала толчком к началу исполнения великой миссии сбережения национальной памяти»¹⁶⁵.

Безусловно, в среде литераторов существовали прирождённые «свидетели эпохи» вроде Ирины Одоевцевой или Глеба Струве, главной задачей считавшие описать этих людей максимально полно. Однако нам представляется, что появление и широчайшее распространение подобных воспоминаний не было простым желанием составить подробные портреты литераторов. По мнению исследователя российской интеллигенции и культуры зарубежья Лидии Григорьевны Березовой, изданные в 1924 году книги Г. В. Иванова и З. Н. Гиппиус оказали заметное влияние на выбор тематики другими русскими мемуаристами. «Они спешили поделиться сокровищами своей памяти о деятелях дореволюционной культуры, о культурных событиях последних десятилетий, часто отдавая им приоритет перед событиями собственной жизни. Так сформировалась главная черта зарубежной мемуаристики — стремление как можно больше писать не о себе, а о других: о политиках, деятелях культуры, о событиях жизни ушедшей России»¹⁶⁶.

Однако это верно только для части мемуарных текстов. Можно ли отнести к желанию «поделиться сокровищами памяти», например, воспоминания Владислава Ходасевича о Сергее Есенине 1932 года: «Когда Есенин прозрел, ему осталось лишь умереть. Его смерть потрясла великое множество людей (особенно молодёжи), переживавших в ту самую пору приблизительно то же, что пережил Есенин. Как я уже говорил, правительству это потрясение показалось опасным, оно наложило на память Есенина род запрета — и с точки зрения своих интересов было в значительной мере право»¹⁶⁷?

¹⁶⁵ *Березовая Л. Г.* Указ. соч.

¹⁶⁶ Там же.

¹⁶⁷ *Ходасевич В. Ф.* О Есенине // Книги и люди. Этюды о русской литературе. М. : Жизнь и мысль, 2002. С. 318–320

Это ли движет Зинаидой Гиппиус, посвятившей Александру Блоку очерк «Мой лунный друг» (1922), посвящённый их последней встрече, на которой Блок боялся, что Гиппиус не подаст ему руки? Он начинается так: «Мы думали, что дошли до пределов страдания, а наши дни были ещё как праздник. Мы надеялись на скорый конец проклятого пути, а он, самый-то проклятый, ещё почти не начался. Большевики, не знавшие ни русской интеллигенции, ни русского народа, неуверенные в себе и в том, что им позволят, ещё робко протягивали лапы к разным вещам»¹⁶⁸.

Как правило, мемуарные заметки о литераторах и политических деятелях, даже те, которые писались как некрологи или в годовщину их смерти, содержали в большом объёме не только социально-политический контекст и глубокую рефлексию, но и «дискуссию» с описываемым человеком, или, напротив, выражали солидарность его взглядам, а также спор с другими мемуаристами.

В среде российского литературного зарубежья во Франции такая дискуссия велась как в письменной (некрологи, художественные произведения, литературная критика), так и в устной форме (в эмигрантских и русско-французских объединениях).

Согласно Э. Дюркгейму, повторяющиеся долгое время коммеморативные практики могут превратиться в ритуал. На наш взгляд, именно дискуссии как некрологи и воспоминания о конкретных людях ритуализовались — так, они обладают всеми выделенными Дюркгеймом для этого превращения характеристиками: носят коллективный характер, эмоционально вовлекают участников, ретроориентированы и сакральны.

Сакральность в окололитературной дискуссии

Именно сакральность придаёт коммеморативной практике ритуальный характер. В среде зарубежья сакральность обеспечивалась наличием некоего «истинного знания», которым не обладали другие. Литераторы включились в общую эмигрантскую борьбу за восстановление «правды» о пережитых событи-

¹⁶⁸ Гиппиус З. Н. Мой лунный друг // Стихотворения. Живые лица. М.: Художественная литература, 1991. С. 247.

ях. Пожалуй, наиболее характерно это стремление проявилось в названии мемуаров Сергея Рафальского, опубликованных его вдовой в 1984 году (через три года после смерти литератора) — «Что было и чего не было»¹⁶⁹. Очевидно, основы борьбы уловили и современные исследователи, опубликовавшие в 2002 году сборник неизданных произведений Зинаиды Гиппиус с практически аналогичным названием — «Чего не было и что было: неизвестная проза 1926—1930 гг.»¹⁷⁰. Некоторым литераторам общество и они сами приписывали феноменальную память на детали, например, Ирине Одоевцевой и Ивану Бунину.

Мемуары-некрологи как места памяти

Самым серьёзным полем сражений стали воспоминания о умерших или убитых поэтах и писателях, с которыми общались многие представители группы. Достаточно открыть любой сборник мемуарных текстов, чтобы убедиться в идущем там споре.

Например, в 1928 году под редакцией Б. П. Козьмина вышел первый (и единственный) том «Био-библиографического словаря русских писателей XX века» — «Писатели современной эпохи». Николай Оцуп, общавшийся с Гумилёвым в 1918—1921 годах и писавший о нём диссертацию, делает ряд замечаний Козьмину в собственных мемуарных текстах (и, разумеется, не только ему): «Козьмин сообщает о жизни Гумилёва в Тифлисе, куда он перевёлся в четвёртый класс гимназии и где увлекался марксизмом! Вряд ли это существенно»¹⁷¹.

В свою очередь, Сергей Маковский был «не убеждён, что Гумилёв успел до этого времени сблизиться с Иннокентием Фёдо-

¹⁶⁹ *Рафальский С. М.* Что было и чего не было : Вместо воспоминаний / С. Рафальский ; Вступ. ст. Б. Филиппова. Лондон : Overseas publ. interchange, 1984. 95 с.

¹⁷⁰ *Гиппиус З. Н.* Чего не было и что было. Неизвестная проза (1926—1930 гг.) / З. Н. Гиппиус ; сост., вступ. статья, комментарии А. Н. Николюкина. СПб. : ООО «Издательство «Росток», 2002. 59 с.

¹⁷¹ *Оцуп Н. А.* Николай Степанович Гумилёв // Николай Гумилёв в воспоминаниях современников / Ред.-сост. В. Крейд. Париж, Нью-Йорк : Третья волна ; Дюссельдорф : Голубой всадник, 1989. С. 182.

ровичем как многообещающий поэт, — так удостоверяет Н. Оцупа в своей книге «Современники»¹⁷². «Вымыслом» в книге Н. Оцупа «Литературные очерки» он считает выделение 1913 года как решающего в судьбе Гумилёва и Ахматовой, её «сильного чувства к знаменитому современнику с коротким звонким именем»: «Аполлон» не мог бы не знать, если бы что-нибудь подобное было. Ахматова только один раз зашла к Блоку по делу и об этом свидании написала стихи. Если в этот «решающий год» увлекалась кем-нибудь, то не «современником с коротким звонким именем». Она расставалась с мужем покорно и скорбно¹⁷³. Этот ряд критики, «боёв за историю», можно продолжать и дальше.

В мемуарах-некрологах и воспоминаниях крайне распространённым было 1) сопоставление поэта и эпохи, литератора и исторических событий: «Его [Гумилёва] поэзия сложна, как вся создавшая её эпоха, когда многое начиналось в России и многое навсегда кончилось»¹⁷⁴; 2) включение его судьбы в исторический (политический) контекст: «Есенин порвал и с литературными формами, тогда в ней господствовавшими. Можно бы сказать, что перед смертью он душевно и поэтически эмигрировал к Пушкину. Надо отдать справедливость советской власти: всё это она, хоть и с опозданием, очень верно почувствовала»¹⁷⁵. Эту форму описания замечают исследователи творчества литераторов зарубежья: «В. Маяковский всегда был в центре внимания эмигрантов, поскольку, являясь олицетворением изменившей их жизнь революции, одновременно был и частью этой прежней жизни»¹⁷⁶.

Н. Н. Кознова в своей диссертации подробно разбирает форму и содержание мемуарных текстов, созданных литера-

¹⁷² *Маковский С.* Указ. соч. С. 83.

¹⁷³ Там же. С. 92.

¹⁷⁴ Там же. С. 73.

¹⁷⁵ *Ходасевич В. Ф.* Указ. соч. С. 318–320.

¹⁷⁶ *Култышева О. М.* Русское зарубежье о В. Маяковском // *Словесное искусство Серебряного века и Русского зарубежья в контексте эпохи («Смирновские чтения»): Сборник статей по итогам II Международной научной конференции (Москва, 22–23 января 2016 года) / Под общей ред. Л. Ф. Алексеевой, В. Н. Климчуковой, С. В. Крыловой. М.: МГОУ, 2016. С. 152–155.*

торами, эмигрировавшими в послереволюционный период, выделяя мемуары-некрологи как специфический жанр, характеризующийся включением самой разной информации о герое: биографических сведений, личных достижений, оценок и анализа творчества (если речь идёт о писателе, художнике, музыканте и т. п.), психологического портрета самого автора воспоминаний, вытекающего из высказываний о персонажах¹⁷⁷. Исследователь замечает, что, характеризуя жизнь и деятельность умершего человека, автор через личное отношение к нему намечает и свой собственный портрет.

Действительно, события из жизни тех, о ком пишутся мемуарные тексты, детали их гибели, часто выступают в роли аргументов к размышлениям авторов текстов о жизни или судьбах России и мира: «Обыкновенно говорят: «время летит». О далёких событиях, врезавшихся в память, с удовольствием замечают, что они были «как будто вчера». Но в наши года даже и это изменилось. ... Мне в эти дни вспоминается арест и последовавший за тем расстрел Н. С. Гумилёва. Было это в августе 1921 года, — как давно! Будто солдатам на войне, месяцы нам теперь насчитываются за годы. Но то, чтобы события стирались или тускнели в памяти. Нет, как в бинокль с обратной стороны — всё совершенно ясно и отчётливо, но удалено на огромное расстояние»¹⁷⁸. В связи с этим мы можем говорить, что упоминание ряда поэтов и писателей, юбилеи или памятные даты их гибели актуализировали травматические воспоминания.

По мнению Н. Н. Козновой, представленная во всех видах литературных воспоминаний информация интересна и «уникальна не только как личный источник, но и как историко-художественный и психологический документ ушедшей эпохи»¹⁷⁹. Нам представляется, что именно интеграция травматического опыта в коллективную историческую память нашла своё отражение в формировании специфических коммеморативных практик — дискуссий о своём состоянии, судьбе

¹⁷⁷ Кознова Н. Н. Указ. соч. С. 315–327.

¹⁷⁸ Адамович Г. В. Памяти Гумилёва // Иллюстрированная Россия. 1929. № 34.

¹⁷⁹ Кознова Н. Н. Указ. соч. С. 315–327.

России, экзистенциальных вопросах, подтверждаемых примерами из социально-политической и личной жизни литераторов, выраженная в устной и письменной форме и определила специфику содержания «психологической» стороны таких документов.

Продолжение дискуссии

Исследовательская концепция М. Хальбвакса основывается на противопоставлении истории и исторической памяти. Первая «обычно начинается в тот момент, когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается социальная память», и пока существуют свидетели события, не возникает необходимости в его фиксации: «потребность написать историю того или иного периода, общества и даже человека возникает только тогда, когда они уже ушли так далеко в прошлое, что у нас мало шансов найти вокруг себя много свидетелей, сохраняющих о них какое-либо воспоминание»¹⁸⁰.

Несмотря на то что история начала активно писаться самими литераторами, строившими планы создания «золотой книги эмиграции» ещё в межвоенный период¹⁸¹, Париж, его культурная жизнь, наполненная переживаниями своего опыта, попытками интеграции во французское общество, желанием сохранить и восстановить российскую дореволюционную действительность, по мнению исследователей, стал историей, причём задолго до того, как ушли его последние яркие личности. «В сущности, — пишет исследователь повседневности А. М. Зверев, — черта была подведена в тот летний день 1939 года, когда на другом кладбище хоронили Ходасевича, а Цветаева, не зная о том, что он умер, после семнадцатилетней разлуки впервые увидела свою родную, неизнаваемую Москву. Через два с половиной месяца началась война, и французское правительство тут же приступило к ликвидации всех политических союзов эмигрантов, конфискуя их архивы, закрывая газе-

¹⁸⁰ Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskaya-pamyat.html> (дата обращения: 07.10.2021).

¹⁸¹ Адамович Г. В. Вклад русской эмиграции в мировую культуру. Париж, 1961. С. 18.

ты»¹⁸². И всё же русское литературное зарубежье не прекратило своё существование в качестве группы, продолжая сохранение и переработку опыта переживания травматических событий революции, Гражданской войны и эмиграции, в созданных и упроченных к концу этого периода формах коммеморации.

С уходом из жизни литераторов послереволюционной эмиграции в популярных эмигрантских изданиях продолжали появляться мемуары-некрологи, причём не только сразу после смерти героя, но и в дни годовщин. Так, например, согласно данным сборника «Незабытые могилы: российское зарубежье» (сост. В. Н. Чуваков)¹⁸³, после смерти Сергея Милича Рафальского (13 ноября 1981 года, Париж) некрологи выходили ежегодно (и чаще раза в год) в «Русской мысли» и других изданиях.

Публикации были не только редакционными, но и авторскими. Например, на смерть Георгия Викторовича Адамовича (21 февраля 1972 года, Ницца) отозвались «Вестник РСХД» (Париж, Нью-Йорк), автором некролога был богослов А. Шмеман; «Новый журнал» (Нью-Йорк) текстами авторства Ю. Иваска и И. Чиннова; «Русская мысль» (Париж), автором некролога был В. Вейдле. Через пять лет там же был опубликован текст Ю. Терапиано «Памяти Г. В. Адамовича: Пять лет кончины», ещё один некролог вышел через год. Чаще всего мемуары-некрологи публиковались в «Русской мысли» (Париж), «Возрождении» (Париж) «Вестнике РСХД», «Новом русском слове» (Нью-Йорк) и «Новом журнале» (Нью-Йорк). Можно заметить, что количество подобных текстов на смерть литераторов очень велико и сопоставимо только с некрологами государственных деятелей. По стилю и содержанию эти некрологи были очень похожи на те, что писались литераторами в честь своих коллег ранее, в первую очередь потому, что их продолжали писать многие из рассмотренных нами литераторов.

¹⁸² Зверев А. М. Повседневная жизнь русского литературного Парижа, 1920–1940 / А. М. Зверев ; изд. 2-е. Москва : Молодая гвардия, 2011. С. 363.

¹⁸³ Незабытые могилы: российское зарубежье: некрологи 1917–1997 : в 6 т. / РГБ. Отд. лит. рус. зарубежья ; сост. В. Н. Чуваков. М. : Пашков дом, 1999–2007. Т. 6. М. : Пашков дом, 2005.

Коммеморация в России и за рубежом

С уходом из жизни большинства свидетелей эпохи личные воспоминания в дискуссиях о жизни, творчестве и судьбе литераторов стали заменяться либо изученными свидетельствами их современников, либо исследовательской практикой, но главное — спор и несогласие с ними относительно правдивости изложения событий продолжились.

Наверное, наиболее точно саму структуру этого диалога за рубежом поддерживают современные нам литературные радиодискуссии. Нам представляется, что с момента собрания интервью и воспоминаний о революции 1917 года в 1960-х годах эти дискуссии взяли на себя функцию продления коммеморации практически в исходном виде. Единственным отличием является нежелание вспоминать литераторов именно в юбилейные даты¹⁸⁴.

Так, например, в диалоге к столетию Ивана Бунина, в разговоре филолога Михаила Ефимова с автором рубрики Иваном Толстым, поднимаются вопросы об эмигрантской идентичности писателя. «Никакой Бунин не эмигрант, согласен, заключает Ефимов. — Бунин — это человек, которому дана полнота впечатлений, полнота бытия, полнота ощущения бытия — вот там, у себя в Ельце, и ничего сверх этого не то чтобы Бунину не было дано, он не нуждался в этом»¹⁸⁵.

В дискуссиях обсуждается и правда описания событий. Исследователь творчества Георгия Адамовича и других литераторов зарубежья Олег Коростелёв даже приходит к выводу, что «обычная история литературной жизни состоит из ошибок памяти мемуаристов, нанизанных на сознательные выдумки, а также из сплетен и слухов, которые постепенно превращаются в легенды, мифы и застывают в монографиях под видом истины. Так происходило всегда, а Серебряный век и его продолжение — эмиграция — возвели такой подход в принцип»¹⁸⁶.

¹⁸⁴ Жив ли Бунин? 150 лет классику. URL: <https://fine-news.ru/zhiv-li-bunin-150-let-klassiku/> (дата обращения: 05.12.2022).

¹⁸⁵ Там же.

¹⁸⁶ Мемуары незамеченного. Василий Яновский о Русском Париже. URL: https://ruvek.mid.ru/publications/memuary_nezamechennogo_vasilii_yanovskiy_o_russkom_parizhe_6959/ (дата обращения: 05.12.2022).

В выпусках на радио обсуждается, например, «феноменальная память» Ирины Одоевцевой. Иван Толстой утверждает в одном из посвящённых ей выпусков, что Олег Лекманов «блестяще показал в своих комментариях, как Одоевцева запросто врёт, как она в других вариантах – то в журнале, то в газете, когда она печатала свои мемуары до книги, – как она переставляла фразы, меняла речь, текст», на что Михаил Ефимов отвечает о проработанности сюжетов в мемуарах Одоевцевой за счёт обращения к другим текстам, и наконец, о своеобразии поэтического, художественного изложения событий¹⁸⁷.

В российском пространстве также стали возникать бои за правду, но уже скорее в научном исследовательском ключе. Ярчайшим примером служит вопрос установления причин гибели Сергея Есенина¹⁸⁸.

В России подобные дискуссии ведутся институционально. Например, в литературно-художественном журнале Санкт-Петербурга «Звезда», что подтверждает красноречивый девиз издания «Свобода проявляется в диалоге». Редакторы журнала считают крайне значимым, что он «не является рупором какой бы то ни было партии или финансовой группы и не транслирует читателю какую бы то ни было моноидеологию». В журнале также выходят номера, целиком посвящённые Марине Цветаевой, Владимиру Набокову, Иосифу Бродскому, Сергею Довлатову, русской эмиграции, неподцензурной культуре 1960-х, 1970-х и 1980-х годов¹⁸⁹.

Иногда на страницах современных журналов диалог «продолжают вести» сами представители послереволюционного российского зарубежья и их современники, оставшиеся в советской России. Так, например, в разделе «Великие люди – великие даты» литературного журнала «Аврора» прозаик и публицист Владимир Логинов создаёт «протокол фантастиче-

¹⁸⁷ Мемуары с бантом. URL: <https://fine-news.ru/memuary-s-bantom/> (дата обращения: 05.12.2022).

¹⁸⁸ Астафьев Н. Есенин и сейчас нуждается в защите // www.esenin.ru : [сайт]. 27.12.2017. URL: <https://esenin.ru/o-esenine/gibel-poeta/astafev-n-esenin-i-seichas-nuzhdaetsia-v-zashchite> (дата обращения: 09.11.2021).

¹⁸⁹ Журнал «Звезда». URL: <https://zvezdaspb.ru/?page=5> (дата обращения: 11.11.2021).

ской видеоконференции с участием Леонида Андреева и его великих современников» – «Online. Вне времени», где на основе реальных высказываний современников Леонида Андреева конструирует диалог, в том числе о восприятии им революции 1905 года, о репрезентации в его произведениях переживаний, связанных с социально-политическими преобразованиями. Примечательно, что Владимир Логинов выступает как бы модератором дискуссии, высказывая и свои убеждения насчёт его судьбы и творчества¹⁹⁰.

Однако новая модель воспоминания и, главное, особенности представлений об идентичности и свободе на современном российском литературно-критическом пространстве должны были встретиться с наследием советского прошлого.

Возможно, по этой причине, в ряде случаев, социально-политическая и жизненная позиция литераторов послереволюционного зарубежья выступает только в качестве подтверждения верности авторских суждений в современных литературных эссе. Такой формат обращения к биографиям литераторов характерен, например, для раздела «критика» популярного Санкт-Петербургского журнала «Наш современник». Обращаются современные авторы в большинстве случаев к конкретным позициям литераторов начала XX века, связанным с убийством советской властью языка и литературы (заметим, её придерживались далеко не все литераторы зарубежья, настаивающие на свободе слова, иначе они не могли бы вести заочный диалог с коллегами, оставшимися в России). Подтверждаются же примеры «беспощадного вытеснения» литературы из образовательного процесса и общественного сознания¹⁹¹, «бездуховности», и «бескультурья», пришедших на смену «духовному единству» дореволюционной России и определяющих низкий уровень современной поэзии¹⁹².

¹⁹⁰ Логинов В. Online. Вне времени // Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Аврора». 2021. № 4. С. 151–161.

¹⁹¹ См.: Ткаченко П. На руинах великих идей... // Наш современник. 2020. № 2. С. 269–275.

¹⁹² См.: Вульф А. В восторгах умиления // Наш современник. 2018. № 5. С. 226–233.

Одновременно с тем произошло и соединение двух моделей восприятия мира (советской и зарубежной). Возникла идейная амбивалентность, которая хорошо заметна, например, в современных учебниках литературы, куда включены одновременно и Иван Бунин, и Владимир Маяковский, и Георгий Иванов, и Максим Горький¹⁹³. В результате этого слияния начался процесс превращения воспоминаний о трагедии в беспристрастную историю, как правило, историю взаимоотношений и творчества, что находит отражение и в критической среде.

Иногда это столкновение приобретает обратный эффект: нежелание соприкоснуться с травматическим прошлым литераторов, признание ненужными дискуссий на эти темы, целесообразности выделения исключительно поэтической составляющей. Так, Валерий Хатюшин, поэт и главный редактор журнала «Молодая гвардия», пишет: «Десятки русских журналов и газет за последние годы опубликовали поэтические произведения вычеркнутых в своё время из литературы поэтов Белого движения. Большинство русских читателей восприняли их стихи спокойно, с пониманием чисто литературного мотива этих публикаций»¹⁹⁴.

Писатель предлагает примирить в своём сердце вражду между красными и белыми, поняв, что «эта война была спровоцирована врагами»¹⁹⁵. Такой, казалось бы, благородный вызов обществу был сделан для защиты белогвардейского поэта Арсения Несмелова, автора «Баллады о даурском бароне», строфу которого «граждански непримиримая», по мнению автора, «замшелая большевичка» Лилия Беляева процитировала в одной патриотической газете. «Ну никак не дойдёт до этих полуграмотных публицисток, — восклицает Валерий Хатюшин, — бесконечно буруеваемых неистойвой любовью ко всем большевикам, что та, девяностолетней давности, Граждан-

¹⁹³ Русская литература XX века. 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений в 2 ч. Ч. 1 / Л. А. Смирнова, О. Н. Михайлов, А. М. Турков [и др.]. М. : Просвещение, 2004.

¹⁹⁴ Хатюшин В. Где нужна ретивость? (Реплика). URL: <https://hatushin.ru/polemika/83-gde-nuzhna-retivost-replika.html> (дата обращения: 10.11.2021).

¹⁹⁵ Там же.

ская война давным-давно закончилась. Однако, похоже, они об этом не слышали и всё ещё продолжают пускать под откос поезда...»¹⁹⁶.

О чём может свидетельствовать желание видеть лишь литературную составляющую произведения? В первой части статьи мы рассматривали дискуссию как форму коммеморации (а в случае с некрологами говорили о её ритуализации). Нам представляется, что приводимые выше примеры «Радио Свобода», журнала «Звезда» и другие тексты и радиозаписи, написанные и записанные в подобной форме, являются длящейся коммеморацией и свидетельствуют о процессе переработки травмы. Последний же приведённый фрагмент статьи главного редактора журнала «Молодая гвардия» позволяет с уверенностью отрицательно ответить на подминаемый в современной исследовательской практике вопрос — closure?¹⁹⁷ — окончена ли эмоциональная переработка травмы революции, Гражданской войны и эмиграции, интегрирован ли опыт в коллективную память.

¹⁹⁶ Там же.

¹⁹⁷ *Плампер Я.* История эмоций / Я. Плампер ; пер. с англ. К. Левинсона. М. : Новое литературное обозрение, 2018. С. 99.

РАЗДЕЛ IV. Зарубежные модели детравматизации

ГЛАВА 8.

**Все ещё не полностью люди:
субъективный опыт ощущения дегуманизации
в Южной Африке после апартеида**

**Still not fully human:
the subjective experience of feeling dehumanized
in post-apartheid South Africa**

Under the apartheid regime, South Africans were divided into four artificially crafted racial categories: White, Black African, Coloured (persons of mixed or diverse racial origins), and Indian (Population Registration Act of 1950). These mass classifications were rooted in the belief that the racial groups had distinct socio-cultural and economic identities that should develop separately¹⁹⁸. Accordingly, state-sanctioned legislation not only enforced separateness, but actively limited access to opportunity, reward, and power to Whites only¹⁹⁹. These discriminating laws gave rise to racial hierarchies based on the dehumanizing ideology of ‘Whiter is superior’, with White people considered at the top of the social hierarchy, Coloured and Indian people occupying intermediate status, and Black Africans located at the bottom²⁰⁰. A history of gross violations of human

¹⁹⁸ Identity, inequality and social contestation in the post-apartheid South Africa / H. Hino, M. Leibbrandt, R. Machema, M. Shifa, C. Soudien // From Divided Pasts to Cohesive Futures (SALDRU Working Paper № 233). Cape Town : SALDRU, UCT, 2018. P. 123–160.

¹⁹⁹ *Lephakga T.* The history of theologised politics of South Africa, the 1913 Land Act and its impact on the flight from the black self // *Studia Historiae Ecclesiasticae*. 2013. Vol. 39, № 2. P. 379–400.

²⁰⁰ *Boucher D.* Reclaiming history: Dehumanization and the failure of decolonization // *International Journal of Social Economics*. 2019. Vol. 46, № 11.

rights ensued, which perpetuated severe inequalities between racial groups in the South African context²⁰¹.

After a violent struggle for freedom²⁰², the apartheid regime finally fell in 1994 and the first democratic election provided Black South Africans²⁰³ with hopes of reclaiming their humanity. Post-apartheid South Africa promised a new and inclusive multi-cultural 'rainbow nation' for all. However, despite active efforts to move towards a more socially just society, growing inequality, social segregation, and political polarization continue to sow division between racial groups, so that the deeply rooted racial hierarchies constructed by the apartheid regime remains largely entrenched economically and socially²⁰⁴.

This chapter explores how the historical social hierarchies crafted during colonialism and apartheid may continue to dictate patterns of dehumanization in post-apartheid South Africa. Specifically, it casts the lens on the subjective experience of *feeling* dehumanized from the target's perspective and reflects on how continuing experiences of social exclusion may perpetuate internalized beliefs of inferiority and impact psychological well-being. In doing so, we consider both structural and social processes potentially contributing to the subjective experience of feeling excluded from humanity. Three categories of antecedents that threaten perceived humanity (social factors, physical environment, and contextual factors) are explored from a

P. 1250–1263; *Hall R. E.* The globalization of light skin colorism: From critical race to critical skin theory // *American Behavioral Scientist*. 2018. Vol. 62, № 14. P. 2133–2145.

²⁰¹ *Hinds L. S.* The gross violations of human rights of the apartheid regime under international law // *Rutgers Race & Law Review*. 1998. № 1. P. 231–317.

²⁰² *Seidman G.* Armed struggle in the South African anti-apartheid movement // *The Social Movements Reader: Cases and concepts* / J. Goodwin & J. M. Jasper (eds.). West Sussex, UK : John Wiley & Sons, Ltd, 2009. P. 224–238.

²⁰³ When referring to Black South Africans we refer collectively to all people of colour, including Black African, Coloured, and Indian people.

²⁰⁴ *Chatterjee A.* Measuring Measuring wealth inequality in South Africa: An agenda // *Development Southern Africa*. 2019. Vol. 36, № 6. P. 839–859; *Francis D.* Poverty and inequality in South Africa: Critical reflections / D. Francis, E. Webster // *Development Southern Africa*. 2019. Vol. 36, № 6. P. 788–802; *Fourie M. M.* Hierarchies of being human: Intergroup dehumanization and its implication in post-apartheid South Africa / M. M. Fourie, M. Deist, S. L. Moore-Berg // Manuscript submitted for publication. 2021. Vol. 28, № 3.

South African perspective and the potential downstream psychosocial and physiological consequences of dehumanizing experiences are discussed.

Dehumanization: A Brief History

Dehumanization, which can be defined as the denial of a person's full humanity, places members of outgroups beyond the boundaries of moral consideration so that harm and/or exploitation is justified²⁰⁵. In the early years of theorizing about this construct, dehumanization research focused primarily on explicit and conscious denials of humanity in extreme contexts, like war, genocide, colonization, and slavery²⁰⁶.

More recently, the focus has shifted to include also more implicit forms of dehumanization that operate beyond overtly hostile or conflict-ridden contexts. Studies on infrahumanization, for example, called attention to the subtle ways in which outgroups are deprived of full humanness in everyday life²⁰⁷. Leyens and colleagues²⁰⁸ found that complex emotions considered uniquely human (e.g., shame or elation) were more often attributed to ingroup than to outgroup members, whereas more basic emotions shared with animals (e.g., anger or happiness) were more readily attributed to outgroup members. Haslam²⁰⁹ expanded on the infrahumanization perspective, proposing a dual model with two distinct modes of dehumanization – “animalistic” and “mechanistic”. In this model, dehumanization

²⁰⁵ Dehumanization: A new perspective / N. Haslam, S. Loughnan, C. Reynolds, S. Wilson // *Social and Personality Psychology Compass*. 2007. Vol. 1, № 1. P. 409–422.

²⁰⁶ Bandura A. Disinhibition of aggression through diffusion of responsibility and dehumanization of victims / A. Bandura, B. Underwood, M. E. Fromson // *Journal of Research in Personality*. 1975. Vol. 9, № 4. P. 253–269.; Smith D. L. Less than human: Why we demean, enslave, and exterminate others. L. : St. Martin's Press, 2011. 336 p.

²⁰⁷ Haslam N. Recent research on dehumanization / N. Haslam, M. Stratemeyer // *Current Opinion in Psychology*. 2016. № 11. P. 25–29.

²⁰⁸ Infra-humanization: The wall of group differences / J. P. Leyens, S. Demoulin, J. Vaes, R. Gaunt, M. P. Paladino // *Social Issues and Policy Review*. 2007. Vol. 1, № 1. P. 139–172.

²⁰⁹ Haslam N. Dehumanization: An integrative review // *Personality and Social Psychology Review*. 2006. Vol. 10, № 3. P. 252–264.

is assessed indirectly through trait attributions instead of blatantly rating humanness. Animalistic dehumanization presents as the denial of uniquely human traits (e.g., being labelled amoral, childish, irrational, or lacking culture), whereas mechanistic dehumanization presents as the denial of human nature characteristics (e.g., being labelled cold, rigid, passive, or superficial).

Although research on infrahumanization is important to capture the more subtle forms of dehumanization in everyday life, it does not mean that blatant forms of dehumanization are relics of the past. Not only is blatant dehumanization surprisingly prevalent in present-day contexts across the globe, it also uniquely predicts aggressive intergroup attitudes and behaviour—more so than infrahumanization or outgroup dislike²¹⁰.

Overall, the bulk of dehumanization research has focused on the predictors of dehumanization from the perpetrator's perspective, and its downstream societal consequences. However, more recent studies have also started to examine the dehumanization experience and its psychosocial consequences from the target's perspective. One example includes work on metadehumanization, which may be described as the subjective perception that others attribute less uniquely human characteristics to oneself or to one's group²¹¹. These metaperceptions arise when people feel deprived of fundamental human needs²¹², which, in turn, not only influences emotions and behaviours within dehumanizing contexts, but also has a detrimental effect on broader self-perceptions²¹³.

²¹⁰ *Kteily N.* They see us as less than human: Metadehumanization predicts intergroup conflict via reciprocal dehumanization / N. Kteily, G. Hodson, E. Bruneau // *Journal of Personality and Social Psychology*. 2016. Vol. 110, № 3. P. 343–370.

²¹¹ *Bastian B.* Experiencing dehumanization: Cognitive and emotional effects of everyday dehumanization / B. Bastian, N. Haslam // *Basic and Applied Social Psychology*. 2011. Vol. 33, № 4. P. 295–303.

²¹² Examining the role of fundamental psychological needs in the development of metadehumanization: A multi-population approach / S. Demoulin, N. Nguyen, T. Chevallereau, S. Fontesse, J. Bastart, F. Stinglhamber, P. Maurage // *British Journal of Social Psychology*. 2021. Vol. 60, № 1. P. 196–221.

²¹³ *Bastian B.* Self-dehumanization / B. Bastian, Ch. Crimston // *TPM: Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*. 2014. Vol. 21, № 3. P. 241–250.

Theoretical Framework

Fontesse and colleagues²¹⁴ formulated a theoretical model based on dehumanization in clinical contexts, specifically focusing on the dehumanizing experiences of individuals diagnosed with alcohol-related disorders. Their model presents a broad framework within which to contextualize the factors that precipitate experiences of dehumanization and considers both internal and external processes that may interact to influence outcomes. The authors propose that human functioning and wellbeing is optimised by conditions that foster four fundamental human needs, namely the need for control, belonging, self-esteem, and meaning. When social, environmental, and contextual circumstances endanger these fundamental needs, the targets of these experiences may *feel* dehumanized, which in turn may have widespread affective, cognitive, and behavioural outcomes. However, the impact of potentially dehumanizing experiences can also be alleviated by several protective factors, including social support.

Even though the model is centered around clinical contexts of dehumanization experience, the basic principles proposed could also be generalised to other contexts. The remainder of this chapter will consider the Fontesse model as a guiding principle to discuss dehumanization experience within the South African context.

Antecedents of Dehumanization

1. Social relations

Humans are ultra-social beings that have a fundamental need for social connection. Perceived ostracism frustrates this need, leading to feelings of being dehumanized (i. e., metadehumanization)²¹⁵ and potentially self-dehumanization²¹⁶. However, physical ostracism is not the only expression by which social rejection is communicated. Blatantly expressed derogatory and dehumanizing language (e. g.,

²¹⁴ Fontesse S. Dehumanization of psychiatric patients: Experimental and clinical implications in severe alcohol-use disorders / S. Fontesse, S. Demoulin, F. Stinglhamber, P. Maurage // Addictive Behaviors. 2019. Vol. 89. P. 216–223.

²¹⁵ Bastian B. Excluded from humanity: The dehumanizing effects of social ostracism / B. Bastian, N. Haslam // Journal of Experimental Social Psychology. 2010. Vol. 46, № 1. P. 107–113.

²¹⁶ Bastian B. Self-dehumanization... P. 241–250.

animalistic metaphors) tend to exacerbate the pain of social rejection²¹⁷. Rejection cues are also often expressed through more subtle interpersonal maltreatments, like disrespect, patronization, humiliation, exploitation, and neglect²¹⁸. Similarly, commonly expressed microaggressions²¹⁹ could make targets feel invalidated, unimportant, rejected, and ultimately 'less human'²²⁰.

In the South African context, the apartheid legacy of separation lingers and desegregation has been slow and uneven. Urban residential areas remain largely segregated along racial lines and the few neighborhoods that are racially integrated are often spaces where racial othering and prejudice continue²²¹. While Black South Africans have started moving into historically White neighborhoods, this is often accompanied by White flight—an out-migration of White people in response to a rising Black population in the area²²². Racialized self-segregation also continues to be observed and reported in desegregated public spaces (e. g., beaches, night clubs, lecture halls, and university residences)²²³. This lack of racial integration further

²¹⁷ *Andrighetto L.* Excluded from all humanity: Animal metaphors exacerbate the consequences of social exclusion / L. Andrighetto, P. Riva, A. Gabbiadini, C. Volpato // *Journal of Language and Social Psychology*. 2016. Vol. 35, № 6. P. 628–644.

²¹⁸ *Bastian B.* Experiencing dehumanization... P. 295–303; When less equal is less human: Intragroup (dis) respect and the experience of being human / D. Renger, A. Mommert, S. Renger, B. Simon // *The Journal of Social Psychology*. 2016. Vol. 156, № 5. P. 553–563.

²¹⁹ See examples in: Racial microaggressions in everyday life: Implications for clinical practice / D. W. Sue, C. M. Capodilupo, G. C. Torino et al. // *American Psychologist*. 2007. Vol. 62, № 4. P. 271–284.

²²⁰ Social exclusion in everyday life / E. D. Wesselmann, M. R. Grzybowski, D. M. Steakley-Freeman et al. // *Social Exclusion* / P. Riva & J. Eck (eds.). Switzerland : Springer International Publishing, 2016. P. 3–23.

²²¹ Identity, inequality and social contestation in the post-apartheid South Africa...

²²² *Durrheim K.* Socio-spatial practice and racial representations in a changing South Africa // *South African Journal of Psychology*. 2005. Vol. 35, № 3. P. 444–459.

²²³ *Alexander L.* The spaces between us: A spatial analysis of informal segregation at a South African university / L. Alexander, C. Tredoux // *Journal of Social Issues*. 2010. Vol. 66, № 2. P. 367–386; *Koen J.* A naturalistic observational study of informal segregation: Seating patterns in lectures / J. Koen, K. Durrheim //

manifests in South Africans' intimate relationships and close friendships, which are more often than not confined to people of similar racialized backgrounds and identities²²⁴.

Racially homogenous spaces send out a message of unwantedness and rejection to racial outgroups. This is especially evident in the symbolic rejection of Blackness within historically White spaces, which often puts pressure on Black people to assimilate to the dominant (White) culture. Assimilation strategies might involve taking on a new, more "acceptable" identity that talks White (without a Black accent), acts White (through mimicry), and, to some degree, even looks White (with straightened hair/weaves and Westernised, non-traditional clothing) – all as a protective measure against the hypercritical White gaze. Given that the idolisation of the dominant White culture often comes at the expense of one's own identity, the mental conflict of this dual identity can be anxiety-provoking and self-depreciating. Ironically, assimilation does not necessarily guarantee protection from dehumanizing experiences. Even though post-apartheid legislation aims to protect all South Africans from blatant racism and discrimination, Black individuals still experience various manifestations of covert racism in their daily lives, including microaggressions, microinvalidations, racialised exclusion, and negative stereotyping. Although these slights might not be intended to be racist and hurtful, they nevertheless exert a powerful influence on the target's sense of inclusion and social acceptance²²⁵.

Environment and Behavior. 2010. Vol. 42, № 4. P. 448–468; Understanding the seating patterns in a residence-dining hall: A longitudinal study of intergroup contact / L. E. Schrieff, C. G. Tredoux, G. Finchilescu, J. A Dixon // South African Journal of Psychology. 2010. Vol. 40, № 1. P. 5–17; Tredoux C. Mapping the multiple contexts of racial isolation: The case of Long Street, Cape Town / C. Tredoux, J. Dixon // Urban Studies. 2009. Vol. 46, № 4. P. 761–777.

²²⁴ Interracial contact among university and school youth in post-apartheid South Africa / C. Tredoux, J. Dixon, K. Durrheim, B. Zuma // The Wiley Handbook of Group Processes in Children and Adolescents / A. Rutland, D. Nesdale, & C. S. Brown (Eds.), Oxford : John Wiley & Sons Ltd., 2017. P. 393–415; Vincent L. The limitations of 'inter-racial contact': Stories from young South Africa // Ethnic and Racial Studies. 2008. Vol. 31, № 8. P. 1426–1451.

²²⁵ April K. A. Diasporic double consciousness – Creolized identity of Colored professionals in South Africa / K. A. April, A. Josias // Effective Executive. 2017. Vol. 20, № 4. P. 31–61; Bazana S. Social identities and racial integra-

2. *Physical environment*

According to the Fontesse model, physical environments also contribute substantially towards the dehumanization experience. Indeed, recent studies have shown a significant association between feeling dehumanized and physical environmental factors in both organizational²²⁶ and clinical settings²²⁷. However, the impact of environmental satisfaction in more intimate living spaces have largely been neglected in dehumanization research.

In the South African context, the dispossession of land had a significant effect on Black people's identity, which is deeply connected to their ancestral motherland. The promulgation of the 1913 Land Act, and the subsequent Group Areas Act of 1950 led to humiliating acts of land dispossession and forced removals, leaving Black people feeling disconnected and lost, doubting their existence as fully human. The land acts restricted lawful Black occupancy of land to a mere 10% (and later 13%) of the country. This resulted in the herding of Black people into "townships" at the periphery of major cities across South Africa, causing massive over-crowding and the formation of rapidly growing informal settlements²²⁸. In stark contrast to the high-quality and highly subsidised municipal services received in White communities (including electricity, water, sewage, and refuse collection), the quality of municipal service delivery was very poor in

tion in historically White universities: A literature review of the experiences of Black students / S. Bazana, O. P. Mogotsi // *Transformation in Higher Education*. 2017. Vol. 2, № 2. a 25; *Boswell R.* Black faces, white spaces: Adjusting self to manage aversive racism in South Africa // *Africa Insight*. 2014. № 44 (3). P. 1–14; *Kamanga E.* Lived experiences of hidden racism of students of colour at an historically white university. (Master of Arts) // Stellenbosch University : [сайт]. 2019. URL: <https://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/106152> (дата обращения: 05.09.2019); *Soudien C.* The reconstitution of privilege: Integration in former White schools in South Africa // *Journal of Social Issues*. 2010. Vol. 66, № 2. P. 352–366.

²²⁶ *Taskin L.* The dark side of office designs: Towards de-humanization / L. Taskin, M. Parmentier, F. Stinglhamber // *New Technology, Work and Employment*. 2019. Vol. 34, № 3. P. 262–284.

²²⁷ Self-dehumanisation in severe alcohol use disorder: Links with self-stigma and environmental satisfaction / S. Fontesse, F. Stinglhamber, S. Demoulin, P. De Timary, P. Maurage // *International Journal of Psychology*. 2021. Vol. 51, № 1.

²²⁸ *Lephakga T.* Op. cit.

Black townships. Furthermore, the arid locations of these townships were often vulnerable to flooding in rainy seasons and sand storms in dryer seasons²²⁹.

While the post-apartheid government aimed to change Black neighborhoods into habitable, humane environments, historical underinvestment, poorly planned spatial configuration, increasing interhousehold and intrahousehold density, overuse of already poor-quality municipal infrastructure, and questionable municipal governance posed significant challenges for transformation. As a result, these settlements continue to be characterised by high densities of low-quality dwellings (colloquially referred to as shacks), and a lack of infrastructure and municipal services. Many living in these areas have no proper means of waste disposal and few informal settlements have access to waterborne sanitation infrastructure (e. g., flush toilets); most make use of communal or private pit toilets. Such poor sanitation and waste collection systems, coupled with limited access to potable water, increase the risk of spreading preventable diseases in these areas, while the polluted environment makes for grim physical appearances²³⁰.

The lived reality is indeed bleak for the millions of mostly Black South Africans living in these dehumanizing and ever-expanding informal settlements. As Wale and colleagues²³¹ note, “As these spaces grow in the post-apartheid era, so too does the sense of social, political and economic exclusion from the promised, hoped-for, liberation”. Adding insult to injury, many informal settlements are adjacent to more affluent (often White) suburbs that parade their wealth

²²⁹ *Smith L.* Access to water for the urban poor in Cape Town: Where equity meets cost recovery / L. Smith, S. Hanson // *Urban Studies*. 2003. Vol. 40, № 8. P. 1517–1548.

²³⁰ *Darkey D.* The more things change the more they remain the same: A study on the quality of life in an informal township in Tshwane / D. Darkey, J. Visagie // *Habitat International*. 2013. № 39. P. 302–309; *Mbambo S. B.* The Impact of the COVID-19 pandemic in townships and lessons for urban spatial restructuring in South Africa / S. B. Mbambo, S. B. Agbola // *African Journal of Governance and Development*. 2020. Vol. 9, № 1.1. P. 329–351.

²³¹ *Wale K.* Introduction: Post-conflict hauntings / K. Wale, P. Gobodo-Madikizela, J. Prager // *Post-Conflict Hauntings: Transforming Memories of Historical Trauma* / Ed. by K. Wale, J. Prager, P. Gobodo-Madikizela. Bel-fast : Palgrave Macmillan, 2020. P. 1–25.

through attractive public spaces and luxurious malls²³². This stark contrast between privilege and deprivation conveys a dehumanizing message of inferiority that is reiterative of the colonial beliefs of apartheid.

II.3. Contextual factors

Poverty, in itself, is deeply dehumanizing not only trapping individuals in a physical environment that violates human dignity, but also depriving them of the basic necessities essential for survival. Indeed, lower socio-economic status has been shown to correlate with greater perceptions of being dehumanized (metadehumanization)²³³. However, Kaufmann and colleagues²³⁴ argued that the humiliation of poverty goes beyond the deficits of basic needs: it also lies in the humiliation of dependance on others for survival. The dependence on others frustrates the fundamental human need for control and autonomy, thus increasing metadehumanization and self-dehumanization²³⁵.

Empowerment and control are rooted in contextual factors, like education, economic opportunity, and social status, which are moulded by socio-historic influences. In the South African context, the apartheid regime historically controlled the social positioning of different racial groups through a combination of racialised discriminating laws that restricted access to opportunities, and blatant discrimination in human capital investment that limited social and economic growth²³⁶. Despite substantial growth in the Black mid-

²³² *Chiwawawara K.* The role of social networks in service delivery protests in a South African township: The case of Gugulethu / K. Chiwawawara, T. Masiya // *Journal of Public Administration and Development Alternatives*. 2018. Vol. 3, № 1. P. 55–69.

²³³ Lacking socio-economic status reduces subjective well-being through perceptions of meta-dehumanization / M. Sainz, R. Martínez, M. Moya, R. Rodríguez-Bailón, J. Vaes // *British Journal of Social Psychology*. 2021. Vol. 60, № 2. P. 470–489.

²³⁴ Humiliation, degradation, dehumanization: Human dignity violated / Edited by: P. Kaufmann, H. Kuch, C. Neuhaeuser, E. Webster. London : Springer Science & Business Media, 2010.

²³⁵ The impact of power on humanity: Self-dehumanization in powerlessness / W. Yang, S. Jin, S. He, Q. Fan, Y. Zhu // *PLoS ONE*. 2015. Vol. 10, № 5.

²³⁶ *Wilson F.* Historical roots of inequality in South Africa // *Economic History of Developing Regions*. 2011. Vol. 26, № 1. P. 1–15.

dle-class post-apartheid, racial income differences remain reminiscent of apartheid hierarchies, with White people earning more than Coloured people, and Coloured people earning more than Black African people²³⁷.

The legacies of apartheid inequalities are particularly apparent in the racialized educational disparities in South Africa. The Bantu Education Act of 1953, which segregated schools by race, was intended to subjugate Black children through education. Historically Black schools were grossly underfunded, while White schools were afforded significant state support²³⁸.

In the post-apartheid state, racialized discrimination in state funding for schools were abandoned, yet the cumulative effects of years of under-funding is not easily erased. In addition, the inequalities of the past are perpetuated by the financial support afforded to historically White schools from the wealthy suburban areas that surround them, while poorer schools, especially those in Black-dominated townships and informal settlements, are neglected. While most well-funded schools have undergone some degree of racial transformation, Black children in poor township schools continue to face gross educational inequalities. These include larger classes, inadequate schooling supplies, and poorer academic staff performance, which result in lower graduation rates, higher drop-out rates, fewer academic opportunities, and reduced access to the labour market²³⁹.

Apartheid legislation further restricted access to upward mobility in social ranking by denying Black people professional growth. In addition to banishing the Black majority to the margins of society where job opportunities were limited, legislation denied Black people access to high status jobs. Moreover, Black entrepreneurs faced impassable legislative (and social) barriers that limited market en-

²³⁷ Statistics South Africa, *Inequality trends in South Africa: A multidimensional diagnostic of inequality*. Pretoria, South Africa : Statistics South Africa, 2019.

²³⁸ *Ndimande B. S.* Pedagogy of poverty: School choice and inequalities in post-apartheid South Africa // *Global Education Review*. 2016. Vol. 3, № 2. P. 33–49; *Thobejane T.* History of apartheid education and the problems of reconstruction in South Africa // *Sociology Study*. 2013. Vol. 3, № 1. P. 1–12.

²³⁹ *Ndimande B. S.* Op. cit.; *Darkey D.* Op. cit.

try and growth, whereas their White counterparts received extensive state support²⁴⁰.

Despite Black Economic Empowerment legislation under the new government, transformation within top managerial positions has been slow²⁴¹. Black people in powerful social spaces typically are faced with a dominant White culture against which all else is compared²⁴². In addition to aversive racism in these spaces²⁴³, access to networks of opportunity is often restricted, which leaves Black people in top positions with a sense of ‘empowered powerlessness’ with limited influence and poor potential for growth²⁴⁴.

In sum, the structural barriers put in place by the apartheid system continue to favour the historically advantaged White population, affording them more power and control over their life choices and opportunities. The full impact of the apartheid regime on the livelihood of Black South Africans goes beyond the explicit racial discrimination of the past, but is reflected in material disadvantages²⁴⁵, health inequalities²⁴⁶, high unemployment rates²⁴⁷, and poorer

²⁴⁰ *Preisendorfer P.* In search of black entrepreneurship: Why is there a lack of entrepreneurial activity among the black population in South Africa? / P. Preisendorfer, A. Bitz, F. J. Bezuidenhou // *Journal of Developmental Entrepreneurship*. 2012. Vol. 17, № 1.

²⁴¹ Department of Labour, 21st Commission for Employment Equity (CEE) Annual report (2020–2021). Pretoria, South Africa : Department of Labour, 2020.

²⁴² *Alexander L.* Op. cit.

²⁴³ *Boswell R.* Op. cit.

²⁴⁴ *April K. A.* Op. cit.; *Wilson F.* Op. cit.

²⁴⁵ Statistics South Africa...

²⁴⁶ *Coovadia H.* The health and health system of South Africa: Historical roots of current public health challenges / H. Coovadia, R. Jewkes, P. Barron, D. Sanders, D. McIntyre // *The Lancet*. 2009. Vol. 374, № 9692. P. 817–834; Mental health inequalities in adolescents growing up in post-apartheid South Africa: Cross-sectional survey, SHaW study / J. Das-Munshi, C. Lund, C. Mathews, C. Clark, C. Rothon, S. Stansfeld // *PLoS ONE*. 2016. Vol. 11, № 5; *Kon Z. R.* Ethnic disparities in access to care in post-apartheid South Africa / Z. R. Kon, N. Lackan // *American Journal of Public Health*. 2008. Vol. 98, № 12. P. 2272–2277.

²⁴⁷ Statistics South Africa, Quarterly Labour Force Survey – Quarter 3: 2021. Pretoria, South Africa : Statistics South Africa, 2021.

life satisfaction within the Black population today²⁴⁸. These enduring legacies of apartheid continue to perpetuate the dehumanizing ideology of Black inferiority through structural barriers and systemic discrimination.

Consequences of Dehumanization

Denying humanity to a specific group of people has damaging implications for their social standing and how they are treated by others. However, when people experience dehumanization, these perceptions could also be internalized²⁴⁹. While the tendency to attribute inferior human traits and characteristics to the self has received limited empirical attention in the South African context, it is reminiscent of Black internalized oppression or “flight from the black self”²⁵⁰. Inferior self-perceptions of targets of dehumanization may also exacerbate the negative effects of dehumanizing experiences, so that a self-deprecating cycle ensues²⁵¹.

Subjective experiences of dehumanization can also have a significant impact on the psychosocial well-being and quality of life of those targeted. Metadehumanization has been associated with

²⁴⁸ *Adedeji A.* Racial relations and life satisfaction among South Africans: Results from the 2017 South African Social Attitudes Survey (SASAS) / *A. Adedeji, E. S. Idemudia, O. A. Bolarinwa, F. Metzner* // *Journal of Psychology in Africa*. 2021. Vol. 31, № 5. P. 522–528.

²⁴⁹ *Baldissarri C.* When work does not ennoble man: Psychological consequences of working objectification / *C. Baldissarri, L. Andrighetto, C. Volpato* // *TPM: Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*. 2014. Vol. 21, № 3. P. 327–339; Metadehumanization and self-dehumanization are linked to reduced drinking refusal self-efficacy and increased anxiety and depression symptoms in patients with severe alcohol use disorder / *S. Fontesse, S. Demoulin, F. Stinglhamber, P. de Timary, P. Maurage* // *Psychologica Belgica*. 2021. Vol. 61, № 1. P. 238; How might eating disorders stigmatization worsen eating disorders symptom severity? Evaluation of a stigma internalization model / *S. Griffiths, D. Mitchison, S. B. Murray, J. M. Mond, B. B. Bastian* // *International Journal of Eating Disorders*. 2018. Vol. 51, № 8. P. 1010–1014; Internalizing objectification: Objectified individuals see themselves as less warm, competent, moral, and human / *S. Loughnan, C. Baldissarri, F. Spaccatini, L. Elder* // *British Journal of Social Psychology*. 2017. Vol. 56, № 2. P. 217–232.

²⁵⁰ *Lephakga T.* Op. cit.; *Onwuzurike C. A.* Black people and apartheid conflict // *Journal of Black Studies*. 1987. Vol. 18, № 2. P. 215–229.

²⁵¹ *Bastian B.* Self-dehumanization...

negative affective responses²⁵², cognitive deconstructive states and aversive self-awareness²⁵³, lower self-esteem²⁵⁴, and even symptoms of anxiety and depression²⁵⁵. Additionally, research is beginning to explore some of the physiological mechanisms impacted by the subjective experience of dehumanization. Prolonged exposure to dehumanizing conditions seems to activate stress-related psychosomatic symptoms, like sleeping troubles, acid indigestion/heartburn, eyestrain, headaches, loss of appetite, dizziness, and fatigue²⁵⁶.

Finally, metadehumanization may have a significant impact on intergroup relationships and social interactions. The perception that one's ingroup is dehumanized by an outgroup threatens one's social identity, which could incite aggressive attitudes and behaviour toward the dehumanizing outgroup in return. This could lead to reciprocal dehumanization, where the perceived perpetrators are dehumanized by their targets, which in turn provokes reactive dehumanization from the original perpetrators²⁵⁷.

²⁵² *Chevallereau T.* Sex-based and beauty-based objectification: Metadehumanization and emotional consequences among victims / T. Chevallereau, P. Maurage, F. Stinglhamber, S. Demouli // *British Journal of Social Psychology*. 2021. Vol. 60, № 12. P. 1218–1240; Cognitive, emotional, and motivational consequences of dehumanization / H. Zhang, D. K.-S. Chan, S. Xia, Y. Tian, J. Zhu // *Social Cognition*. 2017. Vol. 35, № 1. P. 18–39.

²⁵³ *Bastian B.* Experiencing dehumanization...; *Christoff K.* Dehumanization in organizational settings: some scientific and ethical considerations // *Frontiers in Human Neuroscience*. 2014. Vol. 8. St. 748.

²⁵⁴ Examining the role of fundamental psychological needs in the development of metadehumanization: A multi-population approach / S. Demoulin, N. Nguyen, T. Chevallereau, S. Fontesse, J. Bastart, F. Stinglhamber, P. Maurage // *British Journal of Social Psychology*. 2021. Vol. 60, № 1. P. 196–221; Metadehumanization in severe alcohol-use disorders...

²⁵⁵ *Mekawi Y.* Examining racial discrimination's association with depressive symptoms through metadehumanization among African Americans: Does racial identity matter? / Y. Mekawi, N. N. Watson-Singleton // *Journal of Black Psychology*. 2021. Vol. 47, № 2–3. P. 91–117.

²⁵⁶ *Baldissarri C.* Op. cit.

²⁵⁷ *Kteily N.* Op. cit.; *Landry A. P.* Hated but still human: Metadehumanization leads to greater hostility than metaprejudice / A. P. Landry, E. Ihm, J. W. Schooler // *Group Processes & Intergroup Relations*. 2021. Vol. 25, № 2.

Future Directions

Dehumanization research that centres the target's perspective requires substantial empirical attention. Recent studies have identified affective, cognitive, and behavioural consequences associated with perceptions of dehumanization, but our understanding of how these outcomes manifest and interact with the historical legacies of apartheid in the South African context remains poor. Considering the entrenched and hierarchical nature of dehumanization in South Africa, and the socio-historical contextual factors that perpetuate these perceptions of dehumanization, it is extremely relevant to assess how the South African people are affected by this phenomenon.

We acknowledge, however, that research of this nature should caution against overly simplistic approaches that focus only on “damage” that requires “repair”. Tuck²⁵⁸ warned that many well-meaning social researchers fall into the trap of damage-centred research—a pathologizing approach that establishes injury within “victims” to achieve reparation. In the process, “victims” are stripped of their personhood and are defined solely by their wounds. Instead, Tuck advocates for an approach that not only contextualizes the settings in which damage takes place, but also allows for the duality of human nature in response to a damaged system to shine through, which indeed includes negative outcomes, but also resistance, survival, and (at times) even joy. Therefore, giving voice to marginalized communities and exploring from a first-person perspective what it means to live a life on the periphery of humanity is of import.

Mediators and moderators that interact with the dehumanization process also needs more empirical attention. Although some studies reflect on the buffering effects of self-esteem²⁵⁹, positive coping mechanisms²⁶⁰, and social support²⁶¹, the existing dehu-

²⁵⁸ Tuck E. Suspending damage: A letter to communities // Harvard Educational Review. 2009. Vol. 79, № 3. P. 409–428; Tuck E. R-words: Refusing research / E. Tuck, K. W. Yang // Humanizing research: Decolonizing qualitative inquiry with youth and communities. 2014. Vol. 223. P. 223–248.

²⁵⁹ Examining the role of fundamental psychological needs...; Cognitive, emotional, and motivational consequences of dehumanization...

²⁶⁰ April K. A. Op. cit.

²⁶¹ Dehumanization of psychiatric patients...

manization literature largely neglects the resilience factors that could potentially modulate perceptions of dehumanization and its effect on the individual.

Another area where there is currently limited understanding, is the evolution of dehumanizing experiences over time. Given that the human brain can store and recall cognitions and affect associated with traumatic events beyond initial exposure²⁶², quantifying the persistence of such negative affect after a dehumanizing experience may be indicative of longer-term negative outcomes. Furthermore, the internalization of past dehumanizing experience is in constant interaction more recent forms of dehumanization, which could have a cumulative effect on the individual's present-day experiences and perceptions of self-worth. Ruggieri and colleagues²⁶³, for example, found that previous victimization exacerbated negative outcomes of social exclusion. Future research should thus investigate how the chronic mental activation of dehumanizing experiences impacts the psychosocial and physiological well-being of people in marginalised populations, taking into account how the social, environmental, and contextual settings impact these outcomes.

Finally, more study is needed to understand how dehumanization manifests and functions also between historically marginalised groups. Most work of this nature in the South African context has focused on the relation between the privileged White minority and the Black majority. However, during apartheid, the hierarchical power division was a complex, stratified system encompassing four racial groups (White, Black African, Coloured, and Indian)²⁶⁴. The racial division between marginalised groups created by this hierarchical system continue to manifest in the dehumanization patterns observed in post-apartheid South Africa²⁶⁵. Examining the role of

²⁶² *Brosschot J. F.* The perseverative cognition hypothesis: A review of worry, prolonged stress-related physiological activation, and health / J. F. Brosschot, W. Gerin, J. F. Thayer // *Journal of Psychosomatic Research*. 2006. Vol. 60, № 2. P. 113–124.

²⁶³ Do victimization experiences accentuate reactions to ostracism? An experiment using Cyberball / S. Ruggieri, M. Bendixen, U. Gabriel, F. Alsaker // *European Journal of Developmental Science*. 2013. Vol. 7, № 1. P. 25–32.

²⁶⁴ Identity, inequality and social contestation...

²⁶⁵ *Fourie M.* Op. cit.

continued experiences of dehumanization on these intergroup relations could provide insight into the strained relations between these groups²⁶⁶.

Conclusion

Our understanding of how the gross human rights violations and social divisions crafted during apartheid continue to impact people's lived experiences of dehumanization and their psychosocial wellbeing is not well understood. Drawing on the work by Fontesse and colleagues, the current chapter took a deeper look into the social, environmental, and contextual influences in South Africa that contribute to perpetuating patterns of dehumanization, as well as the potential psychosocial and physiological consequences of such experiences. In essence, this work underscores the fact that the subjective experience of dehumanization goes beyond social interactions that frustrate fundamental human needs. These experiences are also deeply rooted in the historical dehumanizing system of apartheid, which crafted physical environments and structures that continue to signal social exclusion and inferiority to many Black South Africans. Underlining the structural barriers that perpetuate these experiences could curb system justifying myths that support hierarchical inequality and open new avenues for intervention to tackle the structural conditions that maintain institutionalized dehumanization.

²⁶⁶ *Brown K.* Coloured and black relations in South Africa: The burden of racialized hierarchy // Macalester International. 2000. Vol. 9, № 1. P. 13; *Adhikari M.* Not white enough, not black enough: Racial identity in the South African coloured community. Cape Town : Double Storey Books, 2005.

ГЛАВА 9.

Фактор исторической памяти о Второй мировой войне во внешней политике КНР

В условиях становления глобального информационного общества доступ к средствам символического производства, в том числе контроль над историческими нарративами, служит одним из критериев политической субъектности актора, претендующего на статус суверенного игрока в международных отношениях. Долгоиграющие территориальные конфликты усугубляются несовпадением коллективных воспоминаний вовлечённых в них сторон и трансформируются в конфликты ценностей, что многократно осложняет их последующее разрешение. На этом фоне в исследованиях международных отношений всё активнее развивается новое направление — изучение внешнеполитического измерения исторической памяти народов.

С учётом того, что сегодня мы наблюдаем становление «новой биполярности» между КНР и США, актуальным и практически значимым представляется анализ механизмов поддержания «четвёртого подъёма»²⁶⁷ Китая средствами национальной политики памяти.

Поскольку консенсуса в отношении содержательного наполнения даже тех понятий, что конституируют профиль дисциплины *memory studies*, в экспертной среде не сложилось²⁶⁸, обозначим, что под исторической политикой мы,

²⁶⁷ Wang G. The Fourth Rise of China: Cultural implications // China: An International Journal. 2004. Vol. 2, № 2. P. 311–322.

²⁶⁸ В настоящее время в междисциплинарном поле *memory studies* одновременно функционирует множество конкурирующих определений для обозначения сходных явлений и процессов: «историческая политика» (М. Хейслер; А. И. Миллер), «политика прошлого» (Д. Арт), «политика памяти» (М. Бернхард и Я. Кубик; В. А. Ачкасов, Д. Е. Ефременко; Н. Е. Копосов; Е. Ю. Мелешкина, В. В. Титов), «коллективная/общественная память» (Л. А. Фадеева, Дж. Верч, К. Смит), «историческая память» (Ю. А. Сафронова), «политическое использование прошлого» (О. Ю. Малинова), «проработка прошлого» (М. Габович) и др.

опираясь на определение О. Ю. Малиновой, будем понимать особую комбинацию методов, предполагающих «использование государственных административных и финансовых ресурсов в сфере истории и политики памяти в интересах правящей элиты»²⁶⁹. В свою очередь, политика памяти рассматривается нами как деятельность «государства и других акторов, направленная на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование поддерживающих их культурной инфраструктуры, образовательной политики, а в некоторых случаях — ещё и законодательного регулирования»²⁷⁰. Уточнение «и других акторов» крайне значимо для настоящей работы, авторы которой пытаются выйти за рамки привычного анализа официальных исторических нарративов КНР и внедряемых государством коммеморативных практик, обратив внимание читателя на неоднородность мнемонического поля Китая. Немало исследований освещают специфику патриотического воспитания в стране, новый импульс которому был сообщён пятым поколением руководителей государства во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. Но с учётом формирования в Китае сложной, географически детерминированной системы, сочетающей в себе элементы социализма и капитализма, нам следует признать, что на поле исторической памяти страны партия-государство не является монополистом. По мере растущей коммерциализации китайского общества всё более заметную роль в политике памяти начинает играть рынок, и рыночные механизмы формирования памяти об учредительных событиях в истории страны обладают рядом специфических отличий от государственных механизмов. Им присущи большие динамичность и эффективность в создании творческого контента, а также готовность гибко реагировать на запросы аудитории. При этом подавляющее большинство негосударственных акторов из числа исторических активи-

²⁶⁹ Малинова О. Ю. Политика памяти как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти: Сборник научных трудов / Отв. ред. А. И. Миллер, Д. В. Ефременко. М. ; СПб. : Нестор-История, 2018. С. 33.

²⁷⁰ Там же.

стов КНР активно воспроизводят и распространяют государственную пропаганду²⁷¹.

С учётом объективных ограничений, связанных с допустимым объёмом статьи, в рамках данного исследования из обширного набора учредительных событий китайской истории для рассмотрения международного/внешнеполитического измерения исторической памяти мы остановимся на Второй мировой войне (ВМВ), а точнее, на периоде 1937–1945 годов, поскольку включение в историю ВМВ японо-китайской войны или «войны сопротивления» является принципиально значимым для официального Пекина. Расширение хронологических рамок Второй мировой войны направлено на укрепление международного положения Китая как одного из гарантов мирового порядка. И в данном контексте крайне «узким» местом для КПК является то, что формально победа над Японской империей во Второй мировой войне была достигнута под руководством партии «Гоминьдан». В максимально концентрированном виде нарратив о том, что «китайская компартия присвоила себе победу над японцами», регулярно озвучивался президентом Тайваня Ма Инцзю (2008–2016)²⁷². В 2015 году в ответ на очередное заявление президента Китайской Республики о том, что ведущая роль в «войне сопротивления» принадлежала войскам партии «Гоминьдан» и главнокомандующему Чан Кайши, пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин ответила следующее: «Победа Китайской народной войны против японской агрессии стала победой всех сыновей и дочерей китайской нации в борьбе за кровь, и эта победа заслуживает того, чтобы её отмечали и помнили все сыновья и дочери китайской нации»²⁷³. Таким образом, несмотря на локальные

²⁷¹ *Reilly J.* Remember History, Not Hatred: Collective Remembrance of China's War of Resistance to Japan // *Modern Asian Studies*. 2011. Vol. 45, № 2. P. 463–490; *Schneider F.* Mediated Massacre: Digital Nationalism and History Discourse on China's Web // *The Journal of Asian Studies*. 2018. Vol. 77, № 2. P. 429–452.

²⁷² Ма Инцзю: антияпонская история не может быть сфальсифицирована, её возглавлял «Гоминьдан» и руководил Чан Кайши (кит. яз.). URL: <https://www.zaobao.com.sg/wencui/politic/story20150705-499462> (дата обращения: 20.04.2022).

²⁷³ Министерство иностранных дел ответило на замечания Ма Инцзю о войне сопротивления Японии (кит. яз.). URL: http://www.xinhuanet.com/tw/2015-07/07/c_127994416.htm. (дата обращения: 20.04.2022).

«войны памяти», разворачивающиеся между Тайванем и Китаем, прошлое Второй мировой войны всё же рассматривается официальным Пекином как значимый символический ресурс для осознания китайским народом своей роли в мировом историческом процессе и определения путей построения внешней политики²⁷⁴.

В настоящей статье будет предпринята попытка выделить доминирующие исторические нарративы КНР и показать, как политика памяти в отношении ВМВ служит поддержанию идеи преемственности пятого поколения руководства КНР поколению победителей «войны сопротивления», одновременно работая на укрепление международного авторитета страны. Авторы также проследят трансформацию исторической политики КНР в соотношении с эволюцией китайско-японских отношений. В работе будут обозначены потенциальные линии расхождения между акторами, играющими на мнемоническом поле КНР, в отношении механизмов политического использования военного прошлого страны.

Роль исторической памяти в построении национальной идентичности

Вне зависимости от принадлежности к той или иной школе этнополитологии большинство исследователей сходятся в том, что концепция нации и построение национальной идентичности неразрывно связаны с представлением людей о своей истории и «незапамятном прошлом»²⁷⁵, а «силу национализму придают мифы, воспоминания, традиции и символы этнического наследия»²⁷⁶. Как отмечает Дж. Кларк²⁷⁷, «патриотизм — это, по сути, идея о том, что «мы» связаны с «нашей» историей чем-то боль-

²⁷⁴ *Нежданов В.* Борьба с фальсификацией истории Второй мировой войны: взгляд из Китая // Евразия эксперт : [сайт]. 22 октября 2020. URL: <https://eurasia.expert/borba-s-falsifikatsiy-istorii-ii-mirovoy-voynuzglyad-iz-kitaya/> (дата обращения: 15.04.2021).

²⁷⁵ *Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York : Verso, 2006. P. 11.

²⁷⁶ *Smith A. D.* Myths and Memories of the Nation. Oxford : Oxford University Press, 1999. P. 9.

²⁷⁷ *Clark J. C. D.* National Identity, State Formation and Patriotism: The Role of History in the Public Mind // History Workshop. 1990. Vol. 29, № 1. P. 100.

шим, чем случайность». На важность разделяемого знания об истории развития самой группы и пройденных ею межгрупповых конфликтов как основы социальной идентичности сообщества указывают и социальные психологи²⁷⁸. Укрепление идентичности группы требует отбора знаковых исторических событий, как триумфов, так и травм, описание которых представляло бы из себя сложную сцепку реального и воображаемого²⁷⁹.

В англоязычной китайской историографии одним из наиболее фундаментальных исследований последних лет, посвящённых изучению влияния истории и коллективной памяти на формирование национальной идентичности и позиционирования КНР на международной арене, является работа Чжэн Вана «Никогда не забывайте о национальном унижении: Историческая память в китайской внутренней и внешней политике»²⁸⁰.

В своих выводах автор исходит из следующей, базовой посылки, что историческая память «является ключом к пониманию китайской политики и международных отношений»²⁸¹. Сфокусировав внимание на том, как за два прошедших десятилетия правящая Коммунистическая партия Китая (КПК) превратила столетие национального унижения в избранную травму народа, Ван убедительно доказывает, что историческое сознание является важнейшей составляющей общественного сознания КНР, а историческая память эффективно используется КПК для поддержания своей легитимности и формирования внешней политики.

На основе детального анализа школьных учебников и официальных заявлений Ван раскрывает механизмы, использованные КПК для создания комплекса «избранность — миф —

²⁷⁸ См. в частности: *Korostelina K. History Education and Social Identity // Identity: An International Journal of Theory and Research. 2008. Vol. 8, № 1. P. 25–45; Tajfel H. Differentiations between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations. London : Academic Press, 1978.*

²⁷⁹ *Volkman V. Bloodlines: From Ethnic Pride to Ethnic Terrorism. New York : Farrar Straus Giroux. 1997. P. 48.*

²⁸⁰ *Zheng W. Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations. New York : Columbia University Press, 2014.*

²⁸¹ *Ibid. P. 7.*

травма» (Chosenness – Myth – Trauma; СМТ) в политике памяти страны, что способствовало формированию патриотически настроенного молодого поколения, обладающего ярко выраженным антииностранным историческим сознанием.

С учётом того, что верхняя хронологическая граница столетия национального унижения определяется завершением Второй мировой войны, неудивительно, что именно это учредительное событие, по мнению автора, призвано сыграть определяющую роль в возрождении исторической славы и достижении «великого омоложения китайской нации»²⁸².

Вышеприведённые тезисы представляются достаточно предсказуемыми. Вместе с тем заключительный вывод автора отличается определённой оригинальностью и выпадает из руслу современной китайской историографии, хотя это легко объясняется публикацией работы исследователя в США. В частности, Чжэн призывает к «освобождению от мощного комплекса исторических мифов и травм», указывая, что Китай слишком полагается на историческую память о национальном унижении. Последнее способствует формированию менталитета «осаждённой крепости» и паранойи, которая может быть «с лёгкостью использована националистами в качестве инструмента мобилизации» против демократии²⁸³.

Опорные элементы официального исторического нарратива КНР

Опираясь на наблюдения китайских учёных, занимавшихся исследованием вопросов политики памяти КНР, в частности – Цянь Личэна²⁸⁴, Цзин Цзюня²⁸⁵ и Чжоу Хайяня²⁸⁶, а также на выводы ряда отечественных исследователей, выделим константы официального исторического нарратива КНР.

²⁸² Ibid. P. 237.

²⁸³ Ibid. P. 241.

²⁸⁴ *Цянь Личэн. Исследование социальной памяти: западный контекст, китайские характеристики и методическая практика (кит. яз.) // Исследование социологии. 2015. № 6.*

²⁸⁵ *Цзин Цзюнь. Теория социальной памяти и изучение Китая (кит. яз.) // Китайские общественные науки. 1999. № 12.*

²⁸⁶ *Чжоу Хайянь. Политика памяти (кит. яз.). Пекин, 2013.*

Во-первых, в исторической политике КНР доминирует дискурс национального унижения — культивирование памяти о периоде «опиумных войн» — времени, когда колониальные державы посредством неравноправных договоров разделили на части ослабевшую империю Цин. Процесс уступок «заморским варварам», продолжавшийся с середины XIX века до воссоединения Китая при Мао в 1949 году, вошёл в китайскую историографию под именем «столетия унижений». И, как справедливо отмечает А. Ю. Ованнисян: «По мере того, как мечта о построении светлого коммунистического будущего всё меньше резонирует среди простых китайцев, главной объединяющей идеей для них становится стремление не допустить повторения событий трагической для Китая эпохи»²⁸⁷.

Во-вторых, власти демонстрируют неприятие исторического нигилизма. На примере подхода современного Китая к оценке личности Мао Цзэдуна мы можем видеть практическое применение модели: «заслуги — главное, ошибки — второстепенное». Официальная позиция компартии в отношении деятельности Мао выражается формулой «30% ошибок и 70% побед» и не меняется уже несколько десятков лет. Обесценивание революции неприемлемо, это подрывает легитимность китайской власти²⁸⁸.

В-третьих, в исторической политике КНР воплощается китайский национализм — представление об исключительной роли своей страны. В новейшее время представление о Поднебесной как о доминанте, «срединном государстве» ойкумены основывается уже не на утверждении её априорного превосходства, а на знании о её способности добиться освобождения от чужеземных захватчиков и ожидании возрождения прежнего величия. И это не абстрактное умозаключение. Сразу после XVIII съезда КПК осенью 2012 года все члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином

²⁸⁷ Ованнисян А. Ю. «Нанкинский договор» как предвестник развала Цинской империи // Регион и мир. 2018. Т. IX, № 3. С. 32.

²⁸⁸ Борох О. Возвращение Небесного повеления / О. Борох, А. Ломанов // Pro et Contra. 2009. Т. 13, № 3–4. С. 67.

посетили выставку, посвящённую борьбе китайского народа за национальное возрождение в период с Опиумной войны 1840—1842 годов до начала 2011 года. В короткой речи после посещения выставки Си Цзиньпин заявил, что возрождение китайской нации — самая великая мечта, сплывающая многие поколения китайцев и отражающая общие чаяния всех сынов и дочерей китайского народа²⁸⁹.

И, наконец, историческую политику КНР отличает централизация процесса принятия решений относительно трактовки учредительных событий со стороны КПК. Своеобразное оправдание контроля партии над историческим прошлым было представлено в книге Лю Даньчжэня «Чтобы управлять страной и заниматься политикой, необходимо читать историю», опубликованной в 2010 году в издательстве ЦК КПК. В работе раскрывалась суть различий между китайской и европейской историографией. Автор показывал, как, подвергаясь на всех этапах своего развития сильнейшему культурному давлению китайской цивилизации, историческая политика в Китае и сама история как наука превратились в особый государственно-политический институт. И на этом основании строилась его аргументация допустимости обладания органами власти КНР исключительным правом на интерпретацию истории и оценку исторического прошлого страны²⁹⁰.

При этом избирательная историческая амнезия, которая выражается в намеренном исключении исторических событий из общественно-политического контекста из-за отсутствия официальной позиции или несоответствия оценок события официальной идеологии страны, неспецифична

²⁸⁹ Бергер Я. Национализм и внешняя политика КНР // РСМД : [сайт]. 29 декабря 2014. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/natsionalizm-i-vneshnyaya-politika-knr/> (дата обращения: 01.04.2021).

²⁹⁰ Цит. по: Нежданов В. Политика памяти Китайской Народной Республики в контексте «китайской мечты» // РСМД : [сайт]. 18 марта 2020. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/asian-kaleidoscope/politika-pamyati-kitayskoy-narodnoy-respubliki-v-kontekste-kitayskoy-mechty/> (дата обращения: 01.04.2021).

для КНР. Этот механизм, в большей или меньшей степени, используется любым государством в процессе нациестроительства²⁹¹.

Трансформация исторической политики КНР в контексте эволюции китайско-японских отношений

В терминах Джеймса Верча мы можем сказать, что интерпретация знаковых эпизодов внешней политики современного Китая вписывается в некий «национальный шаблон повествования», в основе которого лежит тема сопротивления агрессивному воздействию извне²⁹². Когда ещё только раздавались первые раскаты будущей американо-китайской торговой войны, в Китае сравнивали атаку Трампа с нападением на страну милитаристской Японии, открывшей в 1937 году дальневосточный театр Второй мировой войны²⁹³. Действительно, все китайские историки сходятся во мнении, что начало Второй мировой войны было связано с действиями Японии и что война началась до 1939 года. Дискуссионным некоторое время оставался вопрос о конкретной дате начала Второй мировой войны. Одни называли 7 июля 1937 года — день, когда японские войска начали широкомасштабное наступление с целью захвата всей территории Китая, другие настаивали на дате 18 сентября 1931 года, когда японская армия, используя территорию Кореи как плацдарм, начала операцию по захвату Северо-Восточных провинций Китая²⁹⁴.

²⁹¹ *Понамарева А. М.* Итоги круглого стола «Историческая память о Второй мировой войне как пространство политической борьбы» (факультет мировой политики, МГУ им. М. В. Ломоносова, 27 ноября 2020 года). (Отчёт) / А. М. Понамарева // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. 2021. № 1. С. 169–170.

²⁹² *Wertsch J. V.* *Voices of the Mind: Sociocultural Approach to Mediated Action* (Reprinted.). Harvard : Harvard University Press, 1993.

²⁹³ *Карнеев А. Н.* Анализ дискуссий внутри китайского общества о положении Китая в мире на фоне обострения отношений с США в период пандемии / А. Н. Карнеев, А. С. Пятачкова // Сравнительная политика. 2020. Т. 11, № 4. С. 141.

²⁹⁴ *Чжан Хайцэн.* Макроскопическое размышление об истории Второй мировой войны (кит. яз.) // Сеть истории Коммунистической партии Китая : [сайт]. 6 сентября 2015. URL: <http://www.zgdsw.org.cn/n/2015/0906/c244522-27548877.html> (дата обращения: 20.04.2022).

Однако в 2017 году Министерство образования Китая издало приказ: во всех национальных учебниках датировка «войны сопротивления» Японии с восьмилетней должна была быть изменена на четырнадцатилетнюю. Таким образом представление о начале Второй мировой войны 18 сентября 1931 года было закреплено на государственном уровне²⁹⁵. Обобщая, в китайской официальной историографии теперь утверждается, что Вторая мировая война началась с нападения Японии на Китай, и победой над Японией она и закончилась.

Таким образом, как раз на примере китайско-японских отношений можно показать, что зависимость исторической памяти от социальных рамок актуализации задаётся международной средой.

Безусловно, на отношениях официальных Пекина и Токио всегда лежала тень событий Второй мировой войны. Однако в 1970-х годах китайские лидеры предпочли избирательную амнезию детальному проговариванию прошлого, поскольку рассчитывали через продуктивное взаимодействие с Японией снизить влияние СССР и США в регионе.

Конфликт на острове Даманский в конце 1960-х годов повлёк за собой разрыв отношений КНР и СССР, при этом дипломатических отношений с США у КНР не было с 1949 года. В этих напряжённых условиях Мао Цзэдун выдвинул концепцию «трёх миров», в рамках которой обе сверхдержавы оценивались как угроза не только для Китая и третьего мира, но и для развитых стран. Предполагалось, что КНР следует сыграть на противоречиях внутри «первого мира»²⁹⁶.

«Шок Никсона» подтолкнул внешнеполитическое ведомство Японии к расширению круга партнёров по международному, в первую очередь экономическому, сотрудничеству. В 1972 году новый председатель Либерально-демократической партии и премьер-министр Японии Какуэй Танака нормализовал отношения с Китаем. На переговорах китайская делега-

²⁹⁵ Официальный сайт Министерства образования Китая (кит. яз.). URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5148/201701/t20170112_294662.html (дата обращения: 20.04.2022).

²⁹⁶ *Понамарева А. М.* Указ. соч. С. 171.

ция потребовала официального признания «трёх принципов»: КНР – единственное законное правительство, представляющее Китай; Тайвань – неотъемлемая часть территории КНР; японо-тайваньский договор 1952 года не имеет силы. Японская сторона согласилась с китайскими требованиями.

Когда Пекин и Токио пришли к соглашению, высшее руководство КНР признало, что ответственность за войну лежит не на японском народе, но на военно-политических лидерах тех лет. Япония согласилась с этой формулировкой, и в совместном коммюнике было зафиксировано, что японская сторона полностью признаёт ответственность за серьёзный ущерб, нанесённый китайскому народу, и глубоко сожалеет об этом. Отвечая на извинения Какуэя Танака за совершённое Японией во время войны, Мао даже пошутил, что не было необходимости извиняться: «В конце концов, без японского вторжения коммунистическая революция никогда бы не увенчалась успехом»²⁹⁷.

Тогда же Китай и Япония отложили на неопределённое время рассмотрение спорного вопроса о принадлежности островов Сенкаку/Дяоюдаю в Восточно-Китайском море.

Во второй половине 1970-х годов между Японией и Китаем участился обмен визитами. С 1978 года, после заключения Договора о мире и сотрудничестве, Япония стала оказывать КНР значительную экономическую помощь, фактически заложив основы той инфраструктуры в экономике Китая, без которой освоение последующих инвестиций стало бы невыполнимым. В данном контексте не вызывает удивления тот факт, что обсуждение проблемы Сенкаку/Дяоюйдао, вновь ставшей частью текущей повестки дня после того, как правая японская федерация молодёжи установила маяк на одном из островов, чтобы символически закрепить территориальные претензии Токио, было демпфировано Пекином.

Вместе с тем, в начале 1980-х годов наметились перемены в исторической политике Китая. Произошла переоценка

²⁹⁷ Цит. по: *Suisheng Zhao*. China's Difficult Relations with Japan: Pragmatism, Superficial Friendship, and Historical Memories // *Asian Journal of Comparative Politics*. 2016. Vol. 1, № 4. P. 337.

роли националистов – партии «Гоминьдан» (и Чан Кайши) – в антияпонском сопротивлении. В учебники истории были внесены соответствующие дополнения; параллельно был увеличен объём нарратива о жестокости японцев в годы войны²⁹⁸. Все эти действия китайская сторона предприняла ещё до того, как между Японией и Китаем возникла проблема учебников 1982 года²⁹⁹.

В 1980-х годах газета «Жэньминь Жибао» и другие авторитетные китайские средства массовой информации начали критиковать Японию за неверную интерпретацию исторических событий. Дело в том, что по мере продвижения политики «реформ и открытости» в Китай стала проникать западная культура, КПК начала опасаться её пагубного влияния на молодёжь и использовала проблему учебников истории для упрочения своей политической линии.

После инцидента на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и распада в 1991 году Советского Союза КПК встала перед новыми внутрисполитическими вызовами. Именно тогда были приняты меры для повышения осознания китайцами своей национальной идентичности посредством более глубокого знакомства народа с историей и культурой страны. Отметим, что в 1992 году Пекин принял закон о морских территориях, в соответствии с которым острова Сенкаку/Дяоюйдао были признаны частью китайской территории³⁰⁰.

Накануне 50-й годовщины окончания Второй мировой войны, в 1994 году, было опубликовано директивное постановление КПК о претворении в жизнь патриотического образования. Это стало дополнительным стимулом к усилению

²⁹⁸ Син К. Проблема учебников истории в Японии, Китае и Южной Корее (1) // Nippon.com : [сайт]. 30 октября 2015. (кит. яз.). URL: <https://www.nippon.com/ru/in-depth/a007023/> (дата обращения: 20.04.2022).

²⁹⁹ Проблема была спровоцирована ошибочным сообщением японских массмедиа о том, что в ходе утверждения учебника по истории для полных средних школ формулировка «агрессия в Северном Китае» была заменена на «продвижение».

³⁰⁰ Xiangshan Z. Recollection of Sino-Japanese Normalization Negotiation // Japan Studies. 1998. № 1. (кит. яз.). URL: <http://www.china.com.cn/chinese/HIAW/143113.htm> (дата обращения: 17.05.2022).

антияпонских настроений. Авторы националистического бестселлера 1990-х годов «Китай может сказать нет» раскритиковали лидеров прошлых лет за отказ от военных репараций в 1970-х годах. В общественно-политический дискурс вернулась тема исторического долга Японии перед Китаем, который должен быть погашен кровью³⁰¹.

К началу 2000-х годов период, когда Япония использовалась для создания новой китайской экономики, завершился. Став второй по величине экономикой мира, Китай отказался от прагматизма и примиряющей риторики в исторической политике. Застарелые обиды и память о «войне сопротивления японским захватчикам» чрезвычайно востребованы в новых условиях, когда Китай накопил в себе достаточный потенциал, чтобы противодействовать политическому возвышению Японии.

В 2005 году антияпонские протесты разразились в более чем 40 городах Китая. Отношения двух стран осложнились после того, как Китай предпринял попытку установить морское и воздушное патрулирование вблизи оспариваемых островов Сенкаку/Дяоюйдао и объявил зону контроля ПВО над Восточно-Китайским морем. Надо отметить, что давление со стороны КНР усиливалось пропорционально укреплению позиций в военной сфере и экономике. К 2005 году Китай обогнал Японию по большинству показателей. В военной сфере наметился переход к новой доктрине превентивных действий вкупе с доктриной развития авиации и флота.

Крайне жёсткой оказалась ответная реакция Пекина на задержание 7 сентября 2010 года в японских территориальных водах близ островов Сенкаку/Дяоюйдао китайского траулера. Власти КНР приостановили обмен информацией на высшем уровне с Японией, угрожали заблокировать поставки в Японию столь необходимых её промышленности редкозе-

³⁰¹ *Xuecun M.* China's Television War on Japan // New York Times : [сайт]. 10 February 2014. (кит. яз). URL: <http://www.nytimes.com/2014/02/10/opinion/murong-chinas-television-war-on-japan.html> (дата обращения: 20.04.2022); *Qiang S.* China Can Say No / S. Qiang, Z. Zhang, B. Quio. Beijing: Zhonghua Gongshang Lianhe Chuban She, 1996. (кит. яз.).

мельных минералов и перешли к наращиванию военно-морского присутствия вокруг спорных островов.

Когда в 2012 году Япония приступила к национализации островов, направив усилия на развитие локальной инфраструктуры, Китай объявил её ревизионистской державой, которая хочет пересмотреть итоги Второй мировой войны и начать эскалацию конфликта. Санкции КНР достаточно сильно ударили по Японии. Стоит напомнить, что Китай был крупнейшим торговым партнёром Японии и основным рынком сбыта для японских автомобилей и электроники. Японские компании быстро почувствовали удар, поскольку продажи японских автомобилей упали. В сентябре 2012 года продажи новых автомобилей Toyota в Китае упали на 48,9% по сравнению с предыдущим годом, продажи Honda – на 40,5%, Nissan – на 35%, Mitsubishi – на 63% и Mazda – на 36%. Данные Японской организации внешней торговли показали, что темпы годового снижения японского экспорта в Китай ускорились до 16,7% в январе–июне с 14,8% в июле–декабре. Японский импорт китайских товаров также упал на 6,1%³⁰².

В дополнение к экономическим ответам китайское правительство инициировало крупнейшую в истории вспышку антияпонских демонстраций в более чем 100 китайских городах. В Пекине протестующие собрались перед зданием посольства Японии и, размахивая антияпонскими баннерами и китайскими национальными флагами, пели гимны и выкрикивали лозунги: «Долой японский империализм! Бойкот японских товаров! Объявите войну Японии!» Демонстранты бросали в ворота бутылки, камни, продукты. В Шанхае сотни протестующих у главных ворот консульства Японии скандировали и устраивали беспорядки. В то время как протесты в Пекине и Шанхае носили локальный характер, выступления в других

³⁰² China Daily Takes out Ads in US Newspapers to Highlight Diaoyu Claims // South China Morning Post : [сайт]. 30 September 2012. URL: <http://www.scmp.com/news/china/article/1050476/china-daily-takes-outads-us-newspapers-highlight-diaoyu-claims>.18 (дата обращения: 20.04.2022); Anti-Japan Protests Escalate, Turn Violent // South China Morning Post : [сайт]. 17 September 2012. URL: www.scmp.com/news/china/article/1038664/anti-japan-prot (дата обращения: 20.04.2022).

городах отличались размахом: были разграблены японские магазины и рестораны, подожжены фабрика Panasonic и представительство Toyota.

Показательно, что большинство демонстрантов были не в состоянии объяснить, зачем Китаю острова Сенкаку/Дяоюйдао, но они точно знали, что им не нравятся японцы из-за их военных преступлений, совершённых против простых китайцев в 1931–1945 годах. Митингующие в один голос повторяли, что национальное унижение не должно быть забыто³⁰³.

На сегодняшний день в китайском общественном сознании уместно выделить следующие элементы критического восприятия действий Японской империи:

1. Действия Японии (начиная с «маньчжурского инцидента») привели к тому, что Китай стал хронологически первой жертвой агрессии держав «Оси» в ходе Второй мировой войны. Та лёгкость, с которой японские войска покорили Маньчжурию, и отсутствие существенной негативной реакции западных демократий³⁰⁴ якобы стимулировали и другие страны формирующегося блока агрессоров к реализации захватнических планов — прежде всего в отношении обладавших недостаточно высоким уровнем мобилизационной готовности стран Азии и Африки.

2. Осуществляя последовательную оккупацию Китая, японское политическое и военное руководство активно содействовало сохранению и закреплению политической раздробленности Китая (создание государства Маньчжоу-Го, «заигрывание» с милитаристскими группировками, создание обособленного Пекинского правительства). Особо китайские историки выделяют последовательный курс Японии на выращивание кадров компрадорской элиты, обеспечение их номинальной властью на оккупированных территориях и, что самое главное, попытки органичного интегрирования в систему принятия решений «Гоминьдана». Массовый характер эта тенденция носила на низовом уровне, существенно ослабляя и без того ограничен-

³⁰³ *Suisheng Zhao*. Op. cit.

³⁰⁴ В частности, отсутствие адекватной реакции Лиги Наций на отчёт профильной комиссии Литтона.

ную способность «Гоминьдана» к военному сопротивлению Японии³⁰⁵.

3. Китай был превращён Японией в огромный стратегический плацдарм для осуществления мощных наступательных операций в «большой» Азии. Ключевая причина срыва планов японского руководства – сохранение у СССР в период тяжелейшей войны с нацистской Германией мощной группировки сил на Дальнем Востоке. Последняя была эквивалента по численности личного состава (но не по оснащённости современными вооружениями) любому из ключевых фронтов, ведущих операции на западном направлении. В 1941 году японская «военная машина» развернулась на юг. Соответственно, территория юга Китая была использована для вторжения Японской империи в Индокитай, Бирму, для захвата Сингапура, а также подготовки вторжения в Индию; образуя помимо этого стратегический тыл операций японских войск на островах в акватории Тихого океана. При этом сами китайские историки неизменно подчёркивают роль своей страны в «связывании рук» японским войскам; в частности, в китайской историографии широко пропагандируется история «битвы ста полков».

4. Особое внимание китайские исследователи уделяют политике Японии в отношении мирного населения. Если нацистская Германия активно использовала методы прямого уничтожения населения (расстрелы, заключение в концентрационные лагеря), то Япония применяла также методы опосредованного медленного уничтожения. Это прежде всего активное стимулирование выращивания опиума в Китае (китайские крестьяне, на чьих полях он произрастал, получали широкие льготы вплоть до полного освобождения от налогов) и распространения опиумных притонов по всему Китаю. Данное «оружие» использовалось прежде всего против китайской молодёжи. Иными словами, японские агрессоры планомерно и разнопланово уничтожали «будущее» китай-

³⁰⁵ Гао Жуй. Боль в памяти: коллективная идентичность и повествование антияпонской войны по логике классового строительства (кит. яз.) // Общество. 2015. № 3; Мэн Чжунцзе. Память о Второй мировой войне: конфликт, презентация и её значение (кит. яз.) // Справочник по преподаванию истории. 2015. № 6.

ской нации, надеясь в отдалённой перспективе на её полное уничтожение.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что историческая память о Второй мировой войне является одним из крайне значимых измерений современных китайско-японских отношений. «Исторические аргументы» активно используются официальным Пекином при обсуждении таких дискуссионных тем, как территориальная принадлежность островов Сенкаку/Дяоюйдао, тайваньский вопрос и условия членства крупнейших держав региона в Совете Безопасности ООН, что свидетельствует о происходящей секьюритизации памяти и превращении её в проблему безопасности.

Геополитика исторической памяти

Происходящие в современном Китае процессы, сопряжённые с изменениями в проводимой КПК исторической политике, знаменуют собой возвращение Китая в качестве мировой державы.

С занятия Си Цзиньпином поста председателя КНР в 2013 году внешняя политика Китая претерпела значительные изменения. Более всего впечатляет отказ от дипломатической стратегии «вести себя сдержанно и никогда не брать на себя инициативу» (выдвинутой Дэн Сяопином в 1992 году³⁰⁶), которой свыше двух десятилетий придерживались предыдущие лидеры страны.

Ещё при вступлении в должность Генерального секретаря ЦК КПК в 2012 году Си Цзиньпин представил план развития страны на десятилетия вперёд, названный им «мечтой о великом возрождении китайской нации» («китайской мечтой»). К 2021 году предполагалось создать «общество средней зажиточности» (в конфуцианской традиции – «сяокан»), а к 2049 году – «богатое и могущественное, демократическое... и современное социалистическое государство»³⁰⁷.

³⁰⁶ Хроника Дэн Сяопина (1975–1997). Том 2 (кит. яз.). С. 1346.

³⁰⁷ Ван Ш. Проекты «Экономический пояс Шёлкового пути» и ЕАЭС: конкуренты или партнёры? / Ш. Ван, Ц. Вань // Обозреватель-Observer. 2014. № 10. С. 56–68.

В сентябре 2013 года в рамках своего визита в Казахстан Си Цзиньпин озвучил идею проекта «Экономический пояс Шёлкового пути» (ЭПШП). В октябре того же года, выступая в парламенте Индонезии, он предложил дополнить её концепцией «Морского шёлкового пути XXI века» (МШП). В 2014 году концепция «Один пояс и один путь» была официально названа ключевой составляющей внешнеполитического курса китайского руководства. Она была призвана обеспечить выполнение долгосрочной стратегии развития Китая, представленной Си Цзиньпином в конце 2012 года³⁰⁸, но также стала отражением стремления официального Пекина бросить вызов старому международному порядку и инициировать создание новой системы глобального управления, в которой место и роль Китая заметно возрастут.

Предполагается, что эффективная внешнеполитическая стратегия с неизбежностью должна включать в себя работу с исторической памятью. Как отмечал сам Си Цзиньпин: «История нации — это основа жизни нации»³⁰⁹. Данный тезис не блещет оригинальностью, но свидетельствует о признании китайским руководством важности исторического измерения и готовности уделить особое внимание формированию собственного реестра исторических оценок, отвечающего современному видению государством своей роли на международной арене.

В 2015 году Китай впервые провёл военный парад в честь 70-й годовщины Победы в «Войне сопротивления» китайского народа японским захватчикам. Си Цзиньпин на торжестве выступил с важной речью. Он сказал, что Победа в Войне китайского народа против японских захватчиков была полной победой, впервые одержанной Китаем в отражении внешнего нападения в период новейшей истории. «Победа в анти-японской войне открыла перед китайским народом светлую

³⁰⁸ Звезданович-Лобанова Е. Инициатива «Один пояс и один путь». Какие цели в действительности преследует Китай? / Е. Звезданович-Лобанова, М. Лобанов // Свободная мысль. 2017. № 5. С. 115–130.

³⁰⁹ Избранные документы XVIII съезда Коммунистической партии Китая. Том 1 (кит. яз.). Центральное литературное издательство, 2014. С. 694.

перспективу великого возрождения китайской нации, стала началом нового похода вновь воспрянувшего Китая», – отметил лидер китайского государства. 23 главы иностранных государств, включая президента России В. Путина, генсека ООН Пан Ги Муна и руководителей международных организаций, присутствовали на мероприятии, при этом лидеры западных стран его, в целом, проигнорировали³¹⁰. В этих условиях перед КНР всё ещё стоит задача донесения своего исторического нарратива до значимой части международного сообщества. Тот факт, что на Западе роль Китая в победе над фашизмом до сих пор остаётся недооценённой, уменьшает символический капитал Пекина в международной системе, отстраненной по итогам Второй мировой войны.

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино...»

Обозначая необходимость фиксировать внимание на неоднородности мнемонического поля, мы не пытаемся обосновать это ссылкой на полную отделенность рынка от государства в стране т. н. государственного капитализма. Напротив, на примере бума телевизионных сериалов, посвящённых «войне сопротивления», отмечаемого с 2005 года, мы можем увидеть переплетение политической власти и капитала в пространстве памяти.

Капиталистические медиасистемы поощряют популистские построения прошлого, которые, в силу своей изначальной ориентированности на развлечение масс, могут сильно отличаться от официальной и академической истории. Последняя становится товаром и «потребляется» как часть массовой культуры³¹¹. И, как и в развитых западных обществах, «потребление истории» стало рутинной практикой современного Китая.

³¹⁰ Китай впервые провёл военный парад в честь 70-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам // Russian.news.cn : [сайт]. 3 сентября 2015. URL: http://russian.news.cn/2015-09/03/c_134586102.htm (дата обращения: 20.04.2022).

³¹¹ См. в частности: *De Groot J.* Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. London, New York : Routledge, 2009; *Sturken M.* Memory, Consumerism and Media: Reflections on the Emergence of the Field // *Memory Studies*. 2008. Vol. 1, № 1. P. 73–78.

С маркетизацией китайских СМИ соображения коммерческой целесообразности начинают оказывать всё большее влияние на их работу. Производство телевизионных драм, например, финансируется преимущественно за счёт частного капитала, а доходы телевизионных каналов, хоть и принадлежащих государству, во многом зависят от объёмов размещаемой при показе этих военных драм рекламы³¹².

Бум китайских драм, сюжетная линия которых была тесно связана с темой «войны сопротивления», начался в 2005 году, когда было показано сразу 17 теленовелл. Их среднегодовая частота вещания в период с 2001 по 2004 год составляла 3,3. После 2005 года объём трансляций неуклонно увеличивался до 29 в 2009 году, а затем до 38 в 2012 году³¹³. Помимо очевидного объяснения — информационной насыщенности и яркости контента — анализируя причины популярности военных драм, уместно будет учесть внутривластный контекст — изменения в государственной политике в сфере телевидения. Главным государственным управлением по делам прессы, печати, кинематографии, радио- и телевидения [SARTF] (с 2018 года — Главное управление по делам радио и телевидения) был внедрён целый блок различных нормативных актов, призванных ограничить трансляцию популярных телесериалов иного жанра. Так, в 2004 году SARTF приняло Уведомление об усилении управления цензурой и вещанием криминальных драм, что подорвало доминирование криминальных драм на национальном медиарынке. В 2006 году SARTF выпустило Уведомление об ограничении «костюмированных драм». В 2011 году было ограничено транслирование дворцовых драм, драм о путешествиях во времени, ремейков иностранных фильмов на спутниковых каналах в прайм-тайм. Официальные обоснования проведённого «очищения телеэкрана» варьировались от обвинений «запрещёнки» в политической некорректности до указаний на соображения морали. Учитывая, насколько больших

³¹² TV Drama in China / Y. Zhu, M. Keane and R. Bai (eds). Hong Kong : Hong Kong University Press, 2008.

³¹³ A Survey on the Production and Consumption of War of Resistance Television Dramas. Beijing : China Federation of Literary and Art Circles Publishing House, 2014.

первоначальных инвестиций требует производство телевизионных драм, продюсеры стали искать безопасную нишу, чтобы избежать негативных последствий государственных ограничений. Идеологическая значимость, политкорректность и рыночная привлекательность «войны сопротивления» сделали её популярной темой, потенциально удовлетворяющей как политическим, так и коммерческим императивам.

Рентабельность военных драм в отдельных случаях достигала почти 200%, что было намного выше традиционных 40–50%, характерных для других телевизионных новелл³¹⁴.

Косвенной причиной всплеска интереса к военным драмам стали обострение китайско-японских отношений и подъём антияпонских настроений, вызванные активизацией территориальных споров Пекина и Токио в 2010 году. Продюсерские компании, безусловно, приложили некоторые усилия, чтобы «угадать и угодить» правительству с выбором сюжетов, но спускаемые «сверху» темы находили живой отклик у обычных обывателей, вновь увидевших в Японии противника. Неслучайно продюсер одной из самых популярных драм Китая — *Drawing Sword* — в 2011 году рекламировал новый сезон теленовеллы (*New Drawing Sword*), призывая: «Не забывайте о национальном унижении! Мы любим Китай! Острова Дяоюйдао принадлежат Китаю!»³¹⁵ Таким образом, бум военных драм пришёлся на период с 2009 по 2012 год. После 2012 года их производство сократилось, так как сказались усталость и перенасыщенность рынка. Но под семидесятилетний юбилей победы в «войне сопротивления» (2015) объём производства вновь увеличился³¹⁶. Несмотря на очевидное совпадение чая-

³¹⁴ Huang Y., Zhang X. «Anti-Japanese» as business: How was the «Hengdian anti-Japanese base» opened up // Southern Weekly : [сайт]. 2013. URL: <http://news.nandu.com/html/201303/08/30796.html> (дата обращения: 20.04.2022); Wang Y. Censorship and high audience ratings breed ridiculous WORAJ dramas. 2015. URL: <http://zhenhua.163.com/15/0706/18/ATS2H8IA0004662N.html> (дата обращения: 20.04.2022).

³¹⁵ Wang Y. Censorship and high audience ratings...

³¹⁶ Wang Yi. State, Market, and the Manufacturing of War Memory: China's Television Dramas on the War of Resistance against Japan / Yi Wang, M. Chew // Memory Studies. 2021. Vol. 14, № 4. P. 883–884.

ний управляющих и управляемых, нельзя сказать, что во взаимодействии государственного и коммерческого секторов по вопросу производства военных драм не наблюдалось никаких расхождений.

Конечно, ключевые сюжеты официального нарратива «войны сопротивления» в военных драмах сохранялись. Сюжетная линия опиралась на такие смысловые «столпы», как японский милитаризм, «китайские предатели» (ханьцзянь), коррумпированные члены «Гоминьдана» и мужество китайского народа. Однако периферийную часть повествования рыночные акторы насыщали дополнительными, менее идеологизированными и более «человечными» персонализированными сюжетными линиями. Примечательно, что современные военные драмы подвергли переосмыслению традиционный образ китайской армии. Избегая повествований о высокопоставленных лидерах коммунистов, они фиксируют внимание на историях представителей самых разных классов и групп. Также используется впечатляющий набор развлекательных элементов: интригующие сюжеты, утрированные боевые сцены, спецэффекты, стильные костюмы, роскошные декорации и приглашение на главные роли кумиров молодёжи³¹⁷.

Отдельные категории населения видят в такой коммерциализации национальной истории не лёгкость, а легковесность. Большая часть критиков апеллирует к патриотическим соображениям и недопустимости профанации сакральных эпизодов национальной истории. Некоторые даже призывают к усилению государственной цензуры военных драм, и эта идея поддерживается официальными СМИ. Так, в феврале 2013 года газета «Жэньминь Жибао» раскритиковала военные драмы за их «сверхфиксацию на получении прибыли и консюмеризм как культурную тенденцию»³¹⁸. В апреле в одной из новостных программ центрального телевидения Китая прозвучали обвинения военных драм в искажении истории с целью получения

³¹⁷ Ibid. P. 886.

³¹⁸ Zhu S. Kangzhan lishi qineng xiaotan (How can we joke about the history of War of Resistance) // People's Daily. 25 February 2013.

прибыли³¹⁹. В мае Главное государственное управление по делам прессы, печати, кинематографии, радио- и телевидения выпустило Уведомление о регулировании трансляции телевизионных драм в прайм-тайм на спутниковых каналах. В апреле 2015 года правила ещё больше ужесточились: был наложен запрет на «чрезмерную зрелищность» исторических сериалов на военную тематику.

Таким образом, мы можем видеть, что в полуавторитарном контексте в пространстве рынка не возникает независимых от государства мнемонических агентов, но и о полном подчинении коммерческого сектора национальным интересам говорить не представляется возможным. В формировании политики памяти актуализируется «проблема принципала-агента», когда у государства и рыночных акторов возникает конфликт приоритетов. Формально участники рынка подчиняются своей политической задаче, но ловко используют систему для достижения собственных целей. И государство, и рынок постоянно корректируют свои мнемонические стратегии, реагируя на внутривнутриполитические и общемировые трансформации. И есть все основания полагать, что перетягивание каната по созданию памяти между государством и рынком продолжится.

Память победителей: ситуативный или стратегический альянс с РФ?

С нашей точки зрения, в перспективе усиление Китая должно породить у руководителей страны желание освободить самосознание народа от образа жертвы, который сложился в прошлом. Мы можем согласиться с выводом О. Борух и А. Ломанова, что «Осознание собственной силы растёт одновременно с материальной мощью Китая, всё менее склонного действовать по примеру малых стран, использующих историю для сведения счётов с бывшими обидчиками и для предъявления претензий соседям»³²⁰.

³¹⁹ China Central Television. Can they produce WORAJ dramas like this? 10 April 2013.

³²⁰ Борух О. Указ. соч. С. 85.

В качестве успешной попытки переключить режим памяти с жертвенного нарратива на героический и победный можно рассматривать принятое в 2014 году на 7-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 12-го созыва решение назначить 3 сентября Днём победы в «войне сопротивления» китайского народа японским захватчикам. Как отмечает Б. О. Хубриков: «Закрепление нарратива Победы на законодательном уровне и на уровне дискурса направлено как «вовнутрь», так и «вовне», подчёркивая ключевую роль Поднебесной в победе над мировым фашизмом»³²¹.

Перенос Россией даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября сблизил позиции Москвы и Пекина в «войнах памяти». Этим шагом Москва бросила вызов доминирующему западному нарративу о Второй мировой войне. По мнению Пекина, решение России означает открытую поддержку Китая со стороны Кремля и подчёркивает общие приоритеты России и КНР в новом мировом порядке.

Историческая политика, безусловно, определяется текущей ситуацией на международной арене. Долгие годы социалистический Китай подчёркивал в своём официальном нарративе о Второй мировой войне колоссальное значение помощи, оказанной ему СССР в «войне сопротивления», и «двойные стандарты» британцев и американцев. После начала политики «реформ и открытости» в Китае и с исчезновением СССР с карты мира стал доминировать проамериканский нарратив. Если об американской помощи китайским «летающим тиграм» говорили очень много, то подвиги советских лётчиков умалчивались. В настоящее время, в силу растущей напряжённости между Китаем и Западом и сближения Китая и России, подвиги советских воинов-интернационалистов вновь стали широко освещаться.

Так, например, в марте 2013 года находящийся в России с государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин выступил в МГИМО с речью «Идти в ногу со временем, со-

³²¹ Хубриков Б. О. Историческая политика в эпоху Си Цзиньпина // Новое прошлое. 2020. № 1. С. 66.

действовать миру и развитию на планете». В ней он упомянул историю советского летчика – капитана Кулишенко, который помогал Китаю во время Второй мировой войны. Кулишенко – известный советский мученик в Китае, символ советской помощи китайским военно-воздушным силам. В 2010 г. он был назван в числе «100 героев, которые внесли выдающийся вклад в основание Нового Китая». Память о нем закреплена на официальном сайте Министерства национальной обороны Китая³²². В 2015 году про его героический подвиг был снят фильм «Григорий Кулишенко». В фильме рассказывается, как 12-летний Тан Сяохуэй стал свидетелем героической жертвы советского лётчика Кулишенко на берегу реки. В следующую половину века он и его мать несли вахту памяти у его мавзолея³²³.

С 8 по 10 мая 2015 года во время своего визита в Россию Си Цзиньпин встретился с представителями российских ветеранов, которые участвовали в кровопролитных битвах с японскими войсками на северо-востоке Китая и в Великой Отечественной войне. 3 сентября 2015 года в Большом народном зале Пекина президент Си Цзиньпин вручил 30 медалей к 70-летию победы в войне китайского народа против японской агрессии 30 воинам-интернационалистам – друзьям, которые оказали помощь Китаю³²⁴.

Однако в увлеченности общим «противодействием фальсификации истории» не стоит приписывать КНР и Москве

³²² Корректор этой монографии Елизавета Полукеева знает о русском лётчике и почитании его в Китае не понаслышке. Вдова Григория Кулишенко Тамара Васильевна, выйдя замуж второй раз, стала сводной мачехой матери Елизаветы и, впоследствии, её бабушкой. Бывая в гостях у бабушки с дедушкой, Елизавета с детства слышала рассказы о подвиге Григория Кулишенко и о поездке Тамары Васильевны с дочерью Инной в Китай.

³²³ Список антияпонских героев. Битва за реку Янцзы (кит. яз.) // Министерство национальной обороны КНР : [сайт]. URL: http://www.mod.gov.cn/hist/2015-08/13/content_4614095_3.htm (дата обращения: 20.04.2022).

³²⁴ В 70-ю годовщину победы в «войне сопротивления» Си Цзиньпин вручил памятные медали ветеранам «войны сопротивления» и международным друзьям (кит. яз.) // Observer Network : [сайт]. URL: https://www.guancha.cn/military-affairs/2015_09_02_332738.shtml (дата обращения: 20.04.2022).

тотальное совпадение интересов в области исторической политики. Несмотря на то что 9 мая 2015 г. почётный караул вооружённых сил Народно-освободительной армии Китая исполнил «Катюшу», промаршировав через Красную площадь и пройдя по улицам Москвы, а 3 сентября 2015 года уже российский почётный караул также прошёл по площади Тяньаньмэнь в Пекине, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне государственное телевидение КНР дистанцировалось от подробной трансляции Парада Победы на Красной площади, хотя там и присутствовал Си Цзиньпин. В китайском руководстве посчитали лишним тратить эфирное время на рассказ о российском оружии. В центральных китайских газетах не было ни одной фотографии российских военнослужащих, танка «Армата» или комплексов С-400.

При этом тогда же Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам встречи подписали совместное заявление РФ и Китая об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и продвижения взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, главы двух государств подписали совместное заявление России и КНР о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шёлковый путь».

В канун 9 мая 2020 года лидер КНР Си Цзиньпин также позвонил российскому президенту и тепло поздравил его с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, но на перенесённый парад не приехал, хотя им была направлена представительная китайская делегация.

Вариативность реализации официальной исторической политики китайских властей в полной мере описывается тезисом американского политолога Герберта Хирша: «Контроль над памятью является формой власти»³²⁵. Жёсткая цензура со стороны Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая в отношении СМИ и сети учреждений культуры оборачивается устранением из пространства публичного обсуждения наиболее противоречивых и драматических

³²⁵ *Hirsch H.* Genocide and the Politics of Memory: Studying Death to Preserve Life. Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1995. P. 23.

эпизодов недавнего прошлого страны³²⁶. Если предположить, что государство, отстаивая онтологическую безопасность своего сообщества, стремится обеспечить непрерывность бытия собственного «Я», тогда нарративы, поддерживающие историческую память, целесообразно будет рассматривать в качестве объектов секьюритизации³²⁷. Секьюритизация исторических нарративов выражается в попытках установления диктатуры со стороны государства как доминирующего мнемонического актора, которое стремится (при помощи нормативных обоснований) закрепить в общественном сознании определённую трактовку прошлого³²⁸. Обращение к теории онтологической безопасности позволяет объяснить, почему Китай, многие годы в той или иной мере блокировавший доступ к Википедии, с апреля 2019 года — за несколько недель до тридцатой годовщины протестов на площади Тяньаньмэнь, в результате которых власти страны применили силу — начал блокировать «Вики» на всех языках, а не только на китайском.

Масштабы ведущейся КПК работы по переписыванию прошлого высветило недавнее исследование специалиста по Китаю из Университета Мичигана Гленна Тифферта. Он выяснил, что два цифровых архива — Китайская национальная инфраструктура знаний (The China National Knowledge Infrastructure, CNKI), связанная с Университетом Цинхуа, и Национальная база данных по социальным наукам, финансируемая китайским правительством, — «потеряли» один и тот же блок из 63 статей, опубликованных в период с 1956 по 1958 год двумя китайскоязычными научными журналами. Пострадали преимущественно статьи, авторы которых отклонились от канонической партийной линии «умолчания» в трактовке прошлого. Таким образом эти работы остались только в библиотеках отдельных зарубежных институтов, где ещё хранятся подборки соответствующих журналов, однако обыч-

³²⁶ *Schell O.* China's cover-up. When Communists Rewrite History // *Foreign Affairs*. 2018. Vol. 97, № 1. P. 23.

³²⁷ *Buzan B.* Security: A New Framework for Analysis / B. Buzan, O. Waever, de J. Wilde. London : Lynne Rienner, 1998.

³²⁸ *Mälksoo M.* Memory Must be Defended: Beyond the Politics of Mnemonical Security // *Security Dialogue*. 2015. Vol. 46, № 3. P. 221–237.

ному среднестатистическому гражданину КНР данные «спорные» материалы недоступны³²⁹.

Что характерно, КПК успешно «экспортирует» свои цензурные ограничения за границу. Летом 2017 года Пекин вынудил издательство *Cambridge University Press* удалить из своего цифрового архива англоязычного журнала *The China Quarterly* 300 статей, содержащих «политически некорректные» высказывания. В ноябре 2017 года *Springer Nature*, публикующий такие журналы, как *Nature* и *Scientific American*, удалил с регионального сайта своих изданий в общей сложности около 100 статей. По мнению О. Х. Шелла, в основе такой политики лежит представление КПК об отсутствии так называемых универсальных ценностей, которые партийное руководство воспринимает как нечто навязанное Китаю Западом с единственной целью подорвать сложившуюся в государстве систему власти³³⁰.

С учётом того, что пропаганда остаётся приоритетной задачей государственных СМИ, частный капитал и рынок обладают свободой воли ровно в том объёме, в каком она не препятствует реализации национальных интересов, и оказываются вынуждены идти на компромисс с государственными целями. Таким образом, отношения между государством и частным капиталом в пространстве политики памяти в КНР могут быть описаны в терминах проблемы «принципал – агент».

В области исторической памяти о Второй мировой войне Китай всё ещё ведёт борьбу с историческим нигилизмом как внутри страны, так и за рубежом. Историческая память позиционируется администрацией Си Цзиньпина в качестве основы культурной преемственности поколений, национальной и мировоззренческой идентичности³³¹. Си Цзиньпин стремится стать лидером, изменившим историю Китая, а потому обраще-

³²⁹ *Schell O.* Op. cit. P. 23–24.

³³⁰ *Понамарева А. М.* Представляем первый номер журнала «Foreign Affairs» за 2018 г. «The Undead Past. How Nations Confront the Evils of History» / А. М. Понамарёва // Политическая наука. 2018. № 3. С. 275–277.

³³¹ *Ахметшина А. В.* Понятие «историческая память» и её значение в современном российском обществе / А. В. Ахметшина // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. 2014. № 38. С. 11–15.

ние к коллективному прошлому неизбежно включается в арсенал внутренней и внешней политики государства. На внутреннем фронте усиливается идеологическое давление, ведётся работа по приданию большего значения истории Второй мировой войны. Это находит отражение в принятии законов о репутации национальных героев³³², учреждении новых памятных дней³³³ и мемориальных комплексов, а также во вмешательстве государства в производство литературных и художественных произведений, с целью не допустить «отрыва от реальности» в изображении ключевого для Китая этапа ВМВ — «войны сопротивления» против Японии³³⁴. На дипломатическом фронте КНР сосредотачивается на сотрудничестве с другими странами, в первую очередь с Россией, заимствуя наиболее успешные российские коммеморативные практики ВМВ. Показательно, что на современном этапе из всех держав-победительниц только Россия и Китай встраивают историческую память о ВМВ в идеологический базис своего государства.

При этом КНР сталкивается с большим, чем Россия, объёмом сложностей на пути выстраивания героического нарратива Великой Победы.

Во-первых, по окончании Второй мировой войны в китайской истории не произошло события, аналогичного взятию Берлина, что могло бы стать для Китая символом свершившегося отмщения врагу за причинённые страдания. Отсутствие такого исторического события компенсируется ростом национализма антияпонской направленности.

³³² Закон Китайской Народной Республики о защите героев и мучеников. Принят на втором заседании Постоянной комиссии 13-го Национального народного конгресса 27 апреля 2018 года (кит. яз.).

³³³ Китай установил 13 декабря Национальный день памяти жертв резни в Нанкине // China News : [сайт]. 27 февраля 2014. URL: <http://www.chinanews.com/gn/2014/02-27/5891765.shtml> (дата обращения: 20.04.2022); Уведомление Государственного совета Китайской Народной Республики о 70-й годовщине победы Народной войны Китая против японской агрессии и мировой антифашистской войны (кит. яз.). URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/13/content_9742.htm (дата обращения: 20.04.2022).

³³⁴ Администрация радио и телевидения Китая упорядочила производство антияпонских фильмов и запретила чрезмерные развлечения (кит. яз.) // Жэньминь Жибао. 16 мая 2013.

Во-вторых, после Второй мировой войны Китай сразу же оказался охвачен гражданской войной. И Коммунистическая партия, которая управляла материковым Китаем, и «Гоминьдан», который управлял Тайванем, обосновывали свою историческую легитимность через обращение к событиям гражданской войны. Следствием этого стало пренебрежение историей «войны сопротивления». При этом попытки каждой из партий представить более выгодную именно ей версию «войны сопротивления» привели к конкуренции идеологических нарративов в рамках одного государства.

В-третьих, по сравнению с Россией, роль Китая во Второй мировой войне никогда не акцентировалась мировым сообществом. Сегодня окрепший «забытый союзник», в терминах британского политолога Раны Миттер³³⁵, напоминает о себе другим странам-победительницам.

Сейчас Россия и Китай из товарищей, которые боролись против фашизма в прошлом, превратились в союзников, отстаивающих единую линию политики памяти о Второй мировой войне. Знаковой в этом плане можно считать «Уфимскую декларацию БРИКС», выпущенную 9 июля 2015 года. В ней был затронут вопрос о Второй мировой войне и приветствовалось принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций резолюции 69/267 («70-я годовщина окончания Второй мировой войны»), где говорилось о решимости воспрепятствовать попыткам исказить итоги Второй мировой войны и подчёркивалась необходимость построения мира и развития.

На всё возрастающее давление коллективного Запада по всем значимым направлениям политики часть китайского академического сообщества отреагировала предложением о создании китайско-российского альянса. Самым авторитетным представителем этой группы экспертов является Ян Сюэ-тун, декан факультета международных отношений Университета Цинхуа³³⁶. По его мнению, с 2008 года становление КНР

³³⁵ *Mitter R. Forgotten Ally: China's World War II, 1937–1945. Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 2013.*

³³⁶ *Сюэтон Я. Надёжна ли Россия? // Международный экономический обзор. 2012. Вып. 3. С. 23.*

как второго полюса в системе «новой биполярности» становится всё более заметной, и политика нейтральности начинает приносить Китаю больше вреда, чем пользы. В то же время расхождение объективных стратегических интересов КНР, с одной стороны, и США, Великобритании, Франции – с другой стороны, препятствует успешной реализации инициатив Пекина на площадке Совета Безопасности ООН. С учётом вышеозначенного обстоятельства российско-китайский альянс гарантирует, что соотношение голосов при решении какого-либо вопроса в Совбезе в худшем случае составит 2:3, а не 1:3 – если Москва воздержится и не будет связана никакими союзными обязательствами. Сравнивая эти два политических расклада, китайские эксперты, естественно, отдают предпочтение первому как открывающему более широкое пространство для дипломатических маневров Пекина³³⁷.

Показательно, но поворот к более продуманной и отвечающей национальным интересам независимой России исторической политике китайские эксперты связывают с именем В. В. Путина. Так, в статье У Эньюаня, научного сотрудника Китайской академии общественных наук (КАОН), «Как Россия даст отпор историческому нигилизму»³³⁸ указывается, что после распада СССР в российском обществе полностью разрушилась традиционная система ценностей. Значительная часть населения стала ориентироваться на Запад и ставить под сомнение историю государства в том виде, в каком её преподносили ранее. Эта плачевная ситуация стала меняться с середины 2010 года благодаря В. В. Путину, инициировавшему работу по противодействию фальсификации истории, внедрению законодательных мер, запрещающих отрицать «решающую роль советского народа в победе над фашизмом» и отождествлять действия СССР с нацистской Германией.

Безусловно, в данном контексте общая историческая память о советско-китайском товариществе в борьбе с фашиз-

³³⁷ Там же. С. 23–24.

³³⁸ Как Россия даст отпор историческому нигилизму (кит. яз.). 28 июля 2019. URL: <http://m.cwzg.cn/theory/201907/50466.html?page=full> (дата обращения: 20.04.2022).

мом и милитаризмом проявляет себя как значимый символический ресурс в обеспечении всестороннего сотрудничества современных РФ и КНР³³⁹. Тем не менее, несмотря на заверения высшего руководства обеих стран о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия³⁴⁰, российским властям не следует обольщаться.

Во-первых, официальный Пекин традиционно ведёт работу по продвижению своих подходов одновременно на нескольких треках и в зависимости от характера контрагента по-разному расставляет акценты. В частности, китайские историки активно взаимодействуют по указанной проблематике не только с российскими, но и, например, с британскими коллегами. Так, в 2018 году Центр китаеведения Оксфордского университета и Научно-историческое общество японо-китайской войны, при содействии редакции издания «Изучение японо-китайской войны», совместно организовали проведение в Оксфорде научного международного симпозиума «Исторические факты о ВМВ, воспоминания и толкования». В ходе мероприятия учёные двух стран согласились, что память о событиях ВМВ в разных странах априори не может быть одинаковой уже хотя бы в силу специфики театров военных действий (ТВД). Неизбежно будут акцентироваться различные сюжеты. При этом отдельно подчёркивалось, что коллективная память о ВМВ формируется из индивидуальных воспоминаний о ВМВ³⁴¹. Подобный подход не соответствует российской концепции, в рамках которой недопустимыми предполагаются искажения в отношении причин, хода, последствий и значимости победы над странами «оси», а истина мыслится общей для всех.

³³⁹ Чжу Д. Историческая память о японо-китайской войне 1937–1945 гг. как символический ресурс укрепления сотрудничества современных РФ и КНР. URL: https://lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2019/data/16033/95830_uid347460_report.pdf (дата обращения: 20.04.2022).

³⁴⁰ Путин оценил уровень сотрудничества России и Китая // RT. 26 апреля 2019.

³⁴¹ Аннотация о международном симпозиуме «Исторические факты о ВМВ, воспоминания и толкования» (кит. яз.). Пресс-релиз на государственном научном портале. 20 августа 2018. URL: <http://www.guoxue.com/?p=52528>. (дата обращения: 20.04.2022).

Во-вторых, для китайской стороны (с учётом общего врага и характера ТВД) вклад американцев в победу зачастую оказывается априори более значимым, нежели это сформировано в нашем общественном сознании (и, наоборот, вклад британцев и французов они считают практически нулевым). Показательно, что, например, даже в официальной китайскоязычной историографии учёные крупных государственных научных центров, публикуя работы, приуроченные к значительным юбилейным датам, легко «оставляют за скобками» близость китайских и российских позиций. Например, представитель Пекинского университета иностранных языков Чжан Цзянь в статье «70-я годовщина Второй мировой войны: воспоминания и провалы в памяти» рассказывает о проблемах исторической памяти в отношении Перл-Харбора, Хиросимы, холокоста, обильно цитирует англоязычную поэзию, сетует на то, что «у каждой страны свои воспоминания о Второй мировой войне и свои провалы в памяти». Однако в тексте о ВМВ умудряется ни разу не упомянуть ни СССР, ни Россию³⁴².

Таким образом, даже поверхностный анализ китайской литературы и источников по соответствующей проблематике показывает, что готовность совместно работать над объединением усилий для защиты памяти о Победе со стороны КНР, к сожалению, остаётся в рамках формата внешнеполитической конъюнктуры и пока не может рассматриваться в качестве надёжной долговременной основы для выработки единой для обеих стран исторической политики.

³⁴² 70-я годовщина Второй мировой войны: воспоминания и провалы в памяти (кит. яз.). 29 августа 2015. URL: http://www.wenming.cn/hsw/h/jnkzsl70zn/pskz/201508/t20150829_2828433.shtml (дата обращения: 20.04.2022).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адамович Г. В.* Вклад русской эмиграции в мировую культуру. Париж, 1961. 18 с.
- Адлер Н.* Сохраняя верность партии. Коммунисты возвращаются из ГУЛАГа / Н. Адлер ; пер. с англ. И. П. Лейко. М. : РОССПЭН, 2013. 273 с. ISBN 978-5-8243-1715-2.
- Адорно Т.* Что означает «проработка прошлого» // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М. : Новое литературное обозрение, 2005. С. 64–80. ISBN 5-86793-405-5.
- Айерман Р.* Социальная теория и травма / Р. Айерман ; пер. Д. Хлевнюк // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12, № 1. С. 121–138. EDN QZVGMJ.
- Александр Д.* Культурная травма и коллективная идентичность / Д. Александр, Д. Ю. Куракин // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 5–40. EDN PELCHZ.
- Аникин Д. А.* «Изображая жертву»: коллективные травмы и сакрализация прошлого / Д. А. Аникин // Философская антропология жертвы: от архаических корней к современным контекстам : материалы Всероссийской конференции с иностранным участием (Самара, 12–14 октября 2017 года) / Самарская гуманитарная академия. Самара : Самарская гуманитарная академия, 2017. С. 152–159. EDN YKQOWK.
- Аникин Д. А.* «Травма» памяти: стратегии конструирования в современном политическом дискурсе // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2014. Т. 2, № 1. С. 220–229. EDN SJTJDL.
- Аникин Д. А.* Травматизация прошлого: методология исследования и основные подходы / Д. А. Аникин // *Studia Humanitatis*. 2018. № 4. С. 24. EDN VRPPVS.
- Аникин Д. А.* Травмы культурной памяти: концептуальный анализ и методологические основания исследования / Д. А. Аникин, О. В. Головашина // Вестник Томского

- государственного университета. 2017. № 425. С. 78–84. DOI 10.17223/15617793/425/10. EDN YSYUNS.
- Анкерсмит Ф. Р.* Возвышенный исторический опыт / Франклин Рудольф Анкерсмит ; пер. с англ. : А. А. Олейников [и др.]. М. : Европа, 2007. 612 с. ISBN 978-5-9739-0127-1.
- Антипин Н. А.* 50-летие русско-японской войны в СССР: коммеморативные практики 1954–1955 гг. // Диалог со временем. 2012. № 40. С. 79–94. EDN PUTVHR.
- Ассман А.* Забвение истории – одержимость историей. М. : Новое литературное обозрение, 2019. 552 с. ISBN 978-5-4448-1151-1.
- Астахова Н. В.* Паттерны культурного потребления глухих и слабослышащих: инклюзия или изоляция? / Н. В. Астахова, Н. В. Большаков // Журнал исследований социальной политики. 2017. Т. 15, № 1. С. 51–66. DOI 10.17323/1727-0634-2017-15-1-51-66. EDN YJKOJX.
- Атанесян А. В.* Культура памяти и некоторые модели памяти о геноциде армян в современном армянском обществе / А. В. Атанесян // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8, № 4–1. С. 46–54. DOI 10.17748/2075-9908-2016-8-4/1-46-54. EDN WIMIZT.
- Ахметшина А. В.* Понятие «историческая память» и ее значение в современном российском обществе / А. В. Ахметшина // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. 2014. № 38. С. 11–15. EDN SFVQZJ.
- Березовая Л. Г.* Культура русской эмиграции (1920–1930-е гг.) // Новый исторический вестник. 2001. № 3 (5). С. 120–173. EDN FPLWFG.
- Богатырева Л. В.* Русская эмиграция о Гражданской войне 1917–1922 годов / Л. В. Богатырева, П. Н. Базанов // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2018. Т. 19, № 1. С. 23–31. EDN XWDWLR.
- Борох О.* Китай: возвращение Небесного повеления / О. Борох, А. Ломанов // Pro et Contra. 2009. Т. 13, № 3–4. С. 65–88. EDN XAQBIV.
- Буллер А.* Простить? О феномене исторического непростения и непреклонной памяти / А. Буллер, А. А. Линченко // Вопросы философии. 2015. № 11. С. 50–59. EDN UZEXRZ.

- Бунин И. А.* Публицистика. 1918–1953 гг. / И. А. Бунин ; под общ. ред. О. Н. Михайлова; РАН, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М. : ИМЛИ РАН, 1998. 639 с. ISBN 5-9208-0022-4.
- Бурлакова Н. С.* Психодинамика межпоколенческой передачи травматического опыта в условиях семьи: история и современность / Н. С. Бурлакова // Психологические проблемы современной семьи : сборник тезисов VI Международной научной конференции. (Москва, Звенигород, Екатеринбург, 30 сентября – 4 октября 2015 года) / Под ред. О. А. Карabanовой, Е. И. Захаровой [и др]. Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2015. С. 479–492. EDN VRIJGN.
- Бурмагин А. Г.* От Кубанского казачьего клуба к кубанской казачьей Раде. Краткая история начала возрождения кубанского казачества 1989–1992 гг. Краснодар : ООО фирма «Пульс-Софт», 2009. 320 с.
- Бхаба Х.* Местонахождение культуры // Х. Бхаба ; пер. Г. Гобзем // Перекрёстки. 2005. № 3–4. С. 161–192.
- В память о ветеранах Великой Отечественной войны // Верховный суд Республики Мордовия : [сайт]. 5 июня 2015. URL: http://vs.mor.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=56 (дата обращения: 15.04.2021).
- Ван Ш.* Проекты «Экономический пояс Шёлкового пути» и ЕАЭС: конкуренты или партнёры? / Ш. Ван, Ц. Вань // Обозреватель-Observer. 2014. № 10. С. 56–68.
- Венков А. В.* «Трижды окружённый и разбитый наголову» Филипп Миронов // Донской временник. 2012. Вып. 21. С. 236–241. URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m6/0/art.aspx?art_id=1248 (дата обращения: 20.04.2022).
- Венков А. В.* Печать сурового исхода. К истории событий 1919 года на Верхнем Дону. Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1988. 192 с. ISBN 5-7509-1196-9.
- Водолацкий В. П.* Возрождение: первый круг казаков Дона / В. П. Водолацкий, А. А. Озеров, А. Г. Киблицкий. Ростов-на-Дону : ИИЦ «Дончак», 2006. 95 с.
- Вульфова А.* В восторгах умиления // Наш современник. 2018. № 5. С. 226–233.

- Гаврилов В. В.* «Давно – хорошо...» (история жизни художника – диалог психопатологии и творчества) // Прикладная психология и психоанализ: электрон. науч. журн. 2008. № 1–2. URL: <http://ppip.su> (дата обращения: 20.04.2019).
- Гиппиус З. Н.* Чего не было и что было. Неизвестная проза (1926–1930 гг.) / З. Н. Гиппиус ; сост., вступ. статья, комментарии А. Н. Николюкина. СПб. : ООО «Издательство «Росток», 2002. 592 с. ISBN 5-94668-010-2.
- Гиппиус З. Н.* Стихотворения. Живые лица. М. : Художественная литература, 1991. 471 с. ISBN 5-280-01327-7.
- Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» : официальный сайт. Волгоград. 2022. URL: http://www.stalingradbattle.ru/?Itemid=14&id=68&option=com_content&view=article (дата обращения: 20.04.2022).
- Гофман И.* Представление себя другим в повседневной жизни. М. : КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2000. 304 с. ISBN 5-93354-006-4.
- Гройс Б.* Поэтика политики. М. : Ад Маргинем Пресс, 2012. 400 с. ISBN 978-5-91103-139-8.
- Гуль Р. Б.* Я унёс Россию: Апология эмиграции : В 3 т. Т. 2. Россия во Франции / Роман Гуль ; предисл. и развёрнутый указ. имён О. Коростелева. М. : Б.С.Г.-Пресс, 2001. 519 с. ISBN 5-93381-026-6.
- Гусефф К.* Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920–1939 годы) / Катрин Гусефф ; пер. с фр. Э. Кустовой. М. : Новое литературное обозрение, 2014. 328 с. ISBN 978-5-4448-0176-5.
- Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях россиян: опыт социологического анализа / М. К. Горшков [и др.] ; отв. ред. М. К. Горшков, В. В. Петухов. М. : Весь Мир, 2018. 384 с. ISBN 978-5-7777-0722-2. EDN XPHGJN.
- Дубровина Е.* Русская литературная диаспора во Франции. Межвоенный период // Новый Журнал. 2019. № 297. URL: <https://magazines.gorky.media/nj/2019/297/russkaya-literaturnaya-diaspora-vo-franczii.html> (дата обращения: 12.11.2021).

- Емелин А. Ю.* Русская эскадра. Прощание с Императорским флотом / А. Ю. Емелин, В. В. Крестьянников, Н. А. Кузнецов ; под ред. А. Ю. Емелина. М. : Арт Волхонка, 2015. 408 с. ISBN 978-5-9905968-6-3.
- Зайцев Б.* Изгнание // Русская литература в эмиграции. Сборник / Под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург : Питтсбургский ун-т, 1971. С. 3–6.
- Зайцев Б. К.* Мои современники / Б. Зайцев ; сост. Н. Б. Зайцева-Соллогуб ; вступ. ст. Б. Филиппова. Лондон : Overseas Publications Interchange, 1988. 167 с. ISBN 1-870128-75-3.
- Зайцева С. Д.* Особенности механизмов психологической защиты у глухих подростков, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования / С. Д. Зайцева, К. И. Засядько // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2009. № 10. С. 89–94. EDN KWTIAF.
- Звезданович-Лобанова Е.* Инициатива «Один пояс и один путь». Какие цели в действительности преследует Китай? / Е. Звезданович-Лобанова, М. Лобанов // Свободная мысль. 2017. № 5. С. 115–130. EDN ZXLCVH.
- Зверев А. М.* Повседневная жизнь русского литературного Парижа, 1920–1940 / А. М. Зверев ; изд. 2-е. М. : Молодая гвардия, 2011. 370 с. ISBN 978-5-235-03351-1. EDN QWLCCB.
- Зубков Н.* Коллективная память как объект манипуляции. М. : Дело, 2019. 176 с.
- Иванов Г. В.* Мемуары и рассказы / Сост. В. Крейд. М. : Прогресс-ЛитераМ, 1992. 354 с. ISBN 5-01-003654-1.
- Камоза Т. М.* Травма как коллективный феномен: методологический и историко-философский аспекты исследования // Евразийский союз учёных. 2016. № 3–4 (24). С. 52–55. EDN XCMCCD.
- Карнеев А. Н.* Анализ дискуссий внутри китайского общества о положении Китая в мире на фоне обострения отношений с США в период пандемии / А. Н. Карнеев, А. С. Пятачкова // Сравнительная политика. 2020. Т. 11, № 4. С. 135–147. DOI 10.24411/2221-3279-2020-10054. EDN JJGQCL.
- Климутин В. А.* Российская военно-морская эмиграция в 1920–1930-е годы : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Климутин

- тин Валерий Анатольевич; науч. рук. В. Ф. Ершов ; МГУС Москва, 2006. 194 с. EDN NOGQJV.
- Кознова Н. Н.* Мемуары русских писателей-эмигрантов первой волны: концепции истории и типология форм повествования : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.01 / Кознова Наталья Николаевна ; Московский государственный областной университет. Москва, 2011. 492 с. EDN QFKZCV.
- Колдушко А. А.* «Травма неволи» как вид социокультурной травмы в годы Большого Террора (1930-е годы) // Технологос. 2019. № 3. С. 47–60. DOI 10.15593/perm.kipf/2019.3.04. EDN SWCKVA.
- Колдушко А. А.* Преодоление социальной травмы репрессий 1937–1938 гг.: характеристика исследования и реконструкция на основе источников архивно-следственного дела (на примере А. К. Гампера) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 10 (72). С. 111–113. EDN WLWOKZ.
- Кондратьев В.* Белый авиадарм генерал авиации Вячеслав Матвеевич Ткачёв // Военное обозрение : [сайт]. 14 декабря 2012 г. URL: <https://topwar.ru/22053-belyy-aviadarm-general-aviacii-vyacheslav-matveevich-tkachev.html> (дата обращения: 20.04.2022).
- Корецкая М. А.* (Не) напрасные жертвы: травма как точка сборки биополитического коллективного тела // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 4 (29). С. 29–43. EDN YMYOAM.
- Коростелёв О. А.* Георгий Адамович о взаимоотношениях французской и русской литературы / О. А. Коростелёв // Русские писатели в Париже : материалы Международной научной конференции (Женева, 7–10 декабря 2005 года) / Сост. : Ж. Ф. Жаккар, А. Морар, Ж. Тассис. Женева : Русский путь, 2007. С. 152–162. EDN RWLQWB.
- Коротецкая Л. В.* Холокост как социальная и культурная конструкции памяти: фактор травмы и позиция жертвы // Социологические исследования. 2016. № 3. С. 107–117. EDN VXVZTF.

- Кошелева Е. А.* Психологические особенности глухих и слабослышащих людей и их проявления в общении // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 2–3. С. 672–675. EDN PUPGPD.
- Красноборов М. А.* Механизмы взаимодействия семейной и общенациональной исторической памяти в процессе формирования локальной идентичности // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2017. № 3. С. 123–131. DOI 10.15593/2224-9354/2017.3.10. EDN ZIVYMT.
- Кузнецов Н. И.* Русский флот на чужбине. М. : Вече, 2009. 464 с. ISBN 978-5-9533-2821-0. EDN QPLBNN.
- Култышева О. М.* Русское зарубежье о В. Маяковском // Словесное искусство Серебряного века и Русского зарубежья в контексте эпохи («Смирновские чтения») : Сборник статей по итогам II Международной научной конференции (Москва, 22–23 января 2016 года) / Под общей ред. Л. Ф. Алексеевой, В. Н. Климчуковой, С. В. Крыловой. М. : МГОУ, 2016. С. 152–155. EDN XBACWV.
- Кучева А. В.* Исторические интервью как источник интерпретации культурной травмы (на примере воспоминаний о Великой Отечественной войне) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 11-2 (73). С. 133–136. EDN WWPFWX.
- Кучева А. В.* Концепция культурной травмы и возможность её применения к интерпретации исторических событий // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 8 (70). С. 118–120. EDN WHREDV.
- Кучева А. В.* Повседневная жизнь советского человека в послевоенный период (40–50-е годы XX века): основные стратегии выживания и преодоления травмы / А. В. Кучева, В. С. Мордвинцева // Технологос. 2019. № 3. С. 73–83. DOI 10.15593/perm.kipf/2019.3.06. EDN NACMWB.
- Лёзина Е.* XX век. Проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктату-

- рах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы. М. : Новое литературное обозрение, 2021. 584 с. ISBN 978-5-4448-1582-3.
- Логинов В.* Online. Вне времени // Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Аврора». 2021. № 4. С. 151–161.
- Логунова Л. Ю.* Влияние исторической травмы на семейно-родовую память сибиряков // Социологические исследования. 2009. № 9 (305). С. 126–136. EDN LKXMUX.
- Маковский С.* Николай Гумилёв по личным воспоминаниям // Николай Гумилёв в воспоминаниях современников / Ред.-сост. В. Крейд. Париж, Нью-Йорк : Третья волна ; Дюссельдорф : Голубой всадник, 1989. С. 73–103. ISBN 0-9379-06-4.
- Малинова О. Ю.* Политика памяти как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти: Сборник научных трудов / Отв. ред. А. И. Миллер, Д. В. Ефременко. М. ; СПб. : Нестор-История, 2018. С. 27–53. EDN YNCLNJ.
- Махлин В. Л.* Три травмы (К герменевтике советского опыта) / В. Л. Махлин // Культурология. 2017. № 1 (80). С. 4–22. EDN YGFGXZ.
- Мегилл А.* Историческая эпистемология. М. : Канон+ ; РООИ «Реабилитация», 2007. 480 с. ISBN 978-5-88373-150-0. EDN VXICQT.
- Мелихов В. П.* Слово о целях мемориала. URL: https://elan-kazak.org/?page_id=4055 (дата обращения: 12.07.2018).
- Миньоло В.* Оксидентализм, колониальность и подчинённая рациональность с префиксом «пост» // Перекрёстки. 2004. № 1–2. С. 161–197.
- Миськова Е. В.* Травма сталинских репрессий в контексте коллективных травм геноцидов / Е. В. Миськова // Психология и психотерапия семьи. 2019. № 4. С. 31–49. DOI 10.24411/2587-6783-2019-10005. EDN YFNOYZ.
- Михайленок О. М.* Общественно-политическое согласие в контексте демократической консолидации / О. М. Михайленок // Вестник Института социологии. 2015. № 3 (14). С. 74–91. EDN UJEWEP.

- Муравлева Ю. В.* Русское влияние на культурную жизнь Парижа в первой трети XX века : дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 / Муравлева Юлия Валентиновна ; науч. рук. Е. В. Жбанкова ; МГИМО. Москва, 2016. 247 с.
- Муромцева Л. П.* Деятельность российской эмиграции по спасению реликвий Первой мировой и Гражданской войн // История Гражданской войны в России 1917–1922 гг. : Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 24–25 мая 2016 года). М. : ЦМВС РФ, 2016. С. 318–325.
- Муромцева Л. П.* Историко-культурная деятельность российской эмиграции во Франции в 1920–1930-е гг. // Вестник Московского университета. Серия 8 : История. 2012. № 1. С. 92–107. EDN OYZBZZ.
- Муромцева Л. П.* Память о событиях Первой мировой войны // Первая мировая война – пролог XX века : Материалы международной научной конференции (Москва, ИВИ РАН – МГУ им. М. В. Ломоносова – МГПУ, 8–10 сентября 2014 г.). Часть II / Отв. ред. Е. Ю. Сергеев. М. : ИВИ РАН, 2015. С. 269–276.
- Муромцева Л. П.* Первая мировая война в памяти российской эмиграции // Россия и современный мир. 2014. № 4 (85). С. 155–165. EDN TFYUCR.
- Мэн Чжунцзе.* Память о Второй мировой войне: конфликт, презентация и её значение // Справочник по преподаванию истории. 2015. № 6 (кит. яз.).
- Надькин Т. Д.* Сталинская аграрная политика и крестьянство Мордовии. М. : РОССПЭН ; Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2010. 311 с. ISBN 978-5-8243-1434-2. EDN QPQVDD.
- Нежданов В.* Борьба с фальсификацией истории Второй мировой войны: взгляд из Китая // Евразия эксперт : [сайт]. 22 октября 2020. URL: <https://eurasia.expert/borba-s-falsifikatsiey-istorii-ii-mirovoy-voyny-vzglyad-iz-kitaya/> (дата обращения: 15.04.2021).
- Нежданов В.* Политика памяти Китайской Народной Республики в контексте «китайской мечты» // РСМД : [сайт]. 18 марта 2020. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and->

- comments/columns/asian-kaleidoscope/politika-pamyati-kitayskoj-narodnoj-respubliki-v-kontekste-kitayskoj-mechty/ (дата обращения: 01.04.2021).
- Незабытые могилы: российское зарубежье : некрологи 1917–1997 : в 6 т. / РГБ. Отд. лит. рус. зарубежья ; сост. В. Н. Чуваков. М. : Пашков дом, 1999–2007. Т. 6. М. : Пашков дом, 2005.
- Николаева Е. И.* Детская психическая травма как отзвук социальных потрясений / Е. И. Николаева, А. М. Сафонова // Историческая психология и социология истории. 2010. Т. 3, № 1. С. 184–194. EDN MWBSBP.
- Ованнисян А. Ю.* «Нанкинский договор» как предвестник развала Цинской империи // Регион и мир. 2018. Т. IX, № 3. С. 32–36. EDN YJACNF.
- Озеров А. А.* Возрождение казачества в новой России. (Социально-философский аспект) / А. А. Озеров, А. Г. Киблицкий. Ростов н/Д : ООО «Ростиздат», 2004. 304 с.
- Омельченко Е. Л.* Что остаётся в семейной истории: память о советском сквозь разговор трёх поколений / Е. Л. Омельченко, Ю. А. Андреева // Социологические исследования. 2017. № 11 (403). С. 147–156. DOI 10.7868/S0132162517110162. EDN ZRQQRX.
- Оцун Н. А.* Николай Степанович Гумилёв // Николай Гумилёв в воспоминаниях современников / Ред.-сост. В. Крейд. Париж, Нью-Йорк : Третья волна ; Дюссельдорф : Голубой всадник, 1989. С. 182–199. ISBN 0-9379-06-4.
- Печин Ю. В.* Прощение как терапия культурной травмы // Сибирский педагогический журнал. 2014. № 1. С. 171–174. EDN RVSFWL.
- Пивовар Е. И.* Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в культурно-историческом наследии. М. : РГГУ, 2008. 545 с. ISBN 978-5-7281-1065-1. EDN LBFCPF.
- Писманик М. Г.* Религиоведческие размышления // Религиоведение. 2006. № 3. С. 189–199. EDN HVMZXV.
- Плампер Я.* История эмоций / Я. Плампер ; пер. с англ. К. Левинсона. М. : Новое литературное обозрение, 2018. 568 с. ISBN 978-5-4448-0755-2.

- Понамарева А. М.* Итоги круглого стола «Историческая память о Второй мировой войне как пространство политической борьбы» (факультет мировой политики, МГУ им. М. В. Ломоносова, 27 ноября 2020 г.). (Отчёт) / А. М. Понамарева // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. 2021. № 1. С. 164–172. EDN CKTURL.
- Понамарева А. М.* Представляем первый номер журнала «Foreign Affairs» за 2018 г. «The Undead Past. How Nations Confront the Evils of History» / А. М. Понамарева // Политическая наука. 2018. № 3. С. 269–281. EDN YPENOX.
- Попов А. В.* Архивная россика во Франции и российско-французское архивное сотрудничество // Вестник РГГУ. Серия: Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная безопасность. 2015. № 2 (145). С. 128–142. EDN TNUQZV.
- Прокопов Т.* Поэзия вечеринок и кружков // Иные Берега. 2013. № 1 (29). С. 122–133.
- Рафальский С. М.* Что было и чего не было : Вместо воспоминаний / С. Рафальский ; Вступ. ст. Б. Филиппова. Лондон : Overseas publ. interchange, 1984. 95 с. ISBN 0-903868-95-4.
- Рахаев Д. Я.* Воспроизведение травмы: осмысление депортации в профессиональной культуре репрессированных народов Северного Кавказа (на примере балкарцев и карачаевцев) / Д. Я. Рахаев // Русский травелог XVIII–XX веков. Новосибирск : Новосибирский государственный педагогический университет, 2015. С. 542–562. EDN UEВPIV.
- Рахманов В. М.* Медико-социальные аспекты воспитания и обучения детей с нарушениями слуха. Харьков : Основа, 1990. 153 с.
- Российское общество и вызовы времени. Книга пятая / М. К. Горшков [и др.] ; под ред. М. К. Горшкова, В. В. Петухова. М. : Весь Мир, 2017. 427 с. ISBN 978-5-7777-0687-4. EDN YYWQBH.
- Рудковская М. М.* Великая война в русской военно-морской эмигрантской литературе // История. Общество. Политика. 2019. № 3 (11). С. 58–64. EDN ILDSPE.

- Рудковская М. М.* Первая мировая война в воспоминаниях морских офицеров-участников боевых действий: опыт текстологического анализа (на материале «Записок военно-морского исторического кружка им. адмирала А. В. Колчака») // Россия в Первой мировой войне: анализ события сквозь призму письменных источников и произведений искусства. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет, 2015. С. 295–304. EDN SJGVMW.
- Рудковская М. М.* Русская эмигрантская община в Тулоне в 1920–1930-х годах: формирование и состав // Научный диалог. 2018. № 12. С. 405–418. DOI 10.24224/2227-1295-2018-12-405-418. EDN YTPJID.
- Русская литература XX века. 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений в 2 ч. Ч. 1 / Л. А. Смирнова, О. Н. Михайлов, А. М. Турков [и др.]. М. : Просвещение, 2004.
- Русская литература в эмиграции : сб. ст. / Под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург : Отд. славян. яз. и лит. Питтсбургского ун-та, 1972. 504 с.
- Руткевич А. М.* Психоанализ, история, травмированная «память» // Феномен прошлого / Ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. М. : ГУ ВШЭ, 2005. С. 221–250.
- Рюзен Й.* Кризис, травма и идентичность // «Цепь времён»: Проблемы исторического сознания. М. : ИВИ РАН, 2005. С. 38–62. ISBN 5-201-00487-3.
- Сабенникова И. В.* Российская эмиграция (1917–1939): сравнительно-типологическое исследование. Тверь : Золотая буква, 2002. 431 с. ISBN 5-660-7591-34.
- Сафронова Ю. А.* Третья волна memory studies: Двадцать три года против шерсти // Политическая наука. 2018. № 3. С. 12–27. DOI 10.31249/poln/2018.03.01. EDN PJMOXB.
- Спивак Г. Ч.* Могут ли угнетённые говорить? // Введение в гендерные исследования. Часть II. Хрестоматия. СПб. : Алетейя, 2001. С. 649–670. ISBN 5-89329-397-5.
- Струве Г. П.* Русская литература в изгнании: [Опыт ист. обзора зарубеж. лит.] ; 2-е изд., испр. и доп. Париж : YMCA-press, 1984. 419 с. ISBN 2-85065-052-8.

- Суворова А. А.* Аутсайдерское искусство в России: тенденции, темы, образы. М. : Городец, 2020. 160 с. ISBN 978-5-907085-62-6.
- Сюзтон Я.* Надёжна ли Россия? // Международный экономический обзор. 2012. Вып. 3. С. 23–24.
- Тимон-Рудковская М. М.* Русские морские офицеры в эмиграции. Михаил Васильевич Казимиров (краткий очерк жизни и творчества) / М. М. Тимон-Рудковская // Дальняя Россия : Поэзия, проза, история, очерки, архивы, научные статьи, эссе, обзоры, воспоминания, хроника, путешествия. Приморский краеведческий альманах. Научно-публицистическое издание / Дальневосточный федеральный университет. Владивосток : Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) Филиал ДВФУ в г. Уссурийске, 2015. С. 104–107. EDN LEWQDU.
- Титов К. В.* Доклад Н. С. Хрущёва «О культе личности и его последствиях» как политический контракт. URL: http://elis.pstu.ru/index.php?a=9&pod_id=31&pod3_id=130 (дата обращения: 03.04.2022).
- Ткаченко П.* На руинах великих идей... // Наш современник. 2020. № 2. С. 269–275.
- Топология травмы: Индивидуальный травматический опыт и опыт исторических катастроф : коллективная монография / Н. А. Артеменко, А. И. Бродский, К. А. Капельчук [и др.] ; под ред. Н. А. Артеменко. СПб. : Реноме, 2020. 248 с. ISBN 978-5-00125-301-3. EDN DWPGUK.
- Тощенко Ж. Т.* Общество травмы: между эволюцией и революцией. М. : Весь Мир, 2020. 352 с. ISBN 978-5-7777-0801-4. EDN QLXXDD.
- Травма: пункты : сборник статей / Под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М. : Новое литературное обозрение, 2009. 936 с. ISBN 978-5-86793-722-5. EDN QXYXWV.
- Трут В. П.* Истребить поголовно. Как организовать раскачивание / В. П. Трут // Родина. 2004. № 5. С. 95–97. EDN YRNDVK.
- Тульчинский Г. Л.* Историческая память: гордость, скорбь и забвение / Г. Л. Тульчинский // Гуманитарные основания

- социального прогресса: Россия и современность : сборник статей Международной научно-практической конференции (Москва, 25–27 апреля 2016 г.). Ч. 1. Москва : Московский государственный университет дизайна и технологии, 2016. С. 278–282. ISBN 978-5-87055-352-8. EDN WJWOJN.
- Тульчинский Г. Л.* Соотношение исторической и культурной памяти: практики забвения // Социально-политические науки. 2016. № 4. С. 10–13. EDN XGXAMZ.
- Федосова Е. В.* Социальная память и травматический образ прошлого: социологический дискурс / Е. В. Федосова // Общество: социология, психология, педагогика. 2019. № 12 (68). С. 50–54. DOI 10.24158/spp.2019.12.7. EDN PUDDHN.
- Франция-память / Пьер Нора [и др.] ; пер. с фр. Д. Хапаевой. Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1999. 325 с. ISBN 5-288-02318-2.
- Фуко М.* Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М. : Ад Маргинем Пресс, 1999. 416 с. ISBN 978-5-91103-302-6.
- Халлисте О. В.* Роль исторической памяти в «защитном» этническом конфликте: актуализация памяти социальной идентичности / Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2015. Т. 208. Ч. 2. С. 22–31.
- Хальбвакс М.* Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskaya-pamyat.html> (дата обращения: 07.10.2021).
- Хириш М.* Поколение постпамяти. Письмо и визуальная культура после Холокоста. М. : Новое издательство, 2021. 428 с. ISBN 978-5-98379-251-7.
- Хлынина Т. П.* Великая Отечественная война и новая историческая память: «понимающее забвение», «проработка прошлого» и креативное мифотворчество // Русская старина. 2013. № 2 (8). С. 97–104. EDN SMGYQX.
- Ходасевич В. Ф.* Книги и люди. Этюды о русской литературе. М. : Жизнь и мысль, 2002. 479 с. ISBN 5-8455-0038-9.
- Хубриков Б. О.* Историческая политика в эпоху Си Цзиньпина // Новое прошлое. 2020. № 1. С. 66–83. DOI 10.18522/2500-3224-2020-1-66-83. EDN IZZNCV.

- Царство Антихриста: Третья и четвёртая тысяча / Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. А. Злобин [и др.]. М. : Кучково поле, 2017. 256 с. ISBN 978-5-9950-0831-6.
- Цзин Цзюнь*. Теория социальной памяти и изучение Китая // Китайские общественные науки. 1999. № 12 (кит. яз.).
- Цянь Личэн*. Исследование социальной памяти: западный контекст, китайские характеристики и методическая практика // Исследование социологии. 2015. № 6 (кит. яз.).
- Чакрабарти Д.* Провинциализируя Европу. М. : Музей современного искусства «Гараж», 2021. 384 с. ISBN 9785604538210.
- Чжоу Хайянь*. Политика памяти. Пекин, 2013 (кит. яз.).
- Чжу Д.* Историческая память о японо-китайской войне 1937–1945 гг. как символический ресурс укрепления сотрудничества современных РФ и КНР. URL: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2019/data/16033/95830_uid347460_report.pdf (дата обращения: 07.05.2021).
- Шеманова Н. А.* Опыт разрешения травмы, вызванной знакомством с архивным следственным делом репрессированного родственника / Н. А. Шеманова // Консультативная психология и психотерапия. 2016. Т. 24, № 1 (90). С. 169–180. DOI 10.17759/cpp.2016240111. EDN VPFHNX.
- Штомпка П.* Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6–16.
- Шуцунь В.* На пути к взаимовыгодному сотрудничеству. «Экономический пояс Шёлкового пути» и ЕАЭС – конкуренты или партнёры? / В. Шуцунь, В. Цинсун // Свободная мысль. 2014. № 4 (1646). С. 91–102. EDN TNENZF.
- Эппле Н.* Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах. М. : Новое литературное обозрение, 2020. 576 с. ISBN 978-5-4448-1237-2.
- Эткинд А. М.* Кривое горе: память о непогребённых / А. М. Эткинд ; пер. с англ. В. Макарова. М. : Новое литературное обозрение, 2018. 328 с. ISBN 978-5-444-80738-5.
- Янковская Г. А.* Молотовский коктейль для травмированного сообщества // Вестник Пермского университета. Серия «История». 2012. № 2 (19). С. 152–159. EDN PBRBWH.

- Adedeji A.* Racial relations and life satisfaction among South Africans: Results from the 2017 South African Social Attitudes Survey (SASAS) / A. Adedeji, E. S. Idemudia, O. A. Bolarinwa, F. Metzner // *Journal of Psychology in Africa*. 2021. Vol. 31, № 5. P. 522–528. DOI 10.1080/14330237.2021.1978183.
- Adhikari M.* Not white enough, not black enough: Racial identity in the South African coloured community. Cape Town : Double Storey Books, 2005.
- Albertus R. W.* Decolonisation of institutional structures in South African universities: A critical perspective // *Cogent Social Sciences*, 2019. Vol. 5, № 1. DOI 10.1080/23311886.2019.1620403.
- Aleksander Pavlovitch Lobanov, auteur d'art brut russe / Sous la direction de dominique de miscault et alain escudier. Paris : Aquilon, 2007. 240 p.
- Alexander J.* Toward a Theory of Cultural Trauma // *Cultural Trauma and Collective Identity* / J. Alexander, C. Jeffrey, Ron Eyerman [et al.]. Berkeley : University of California Press, 2004. P. 1–30. DOI 10.1525/california/9780520235946.003.0001.
- Alexander J.* Trauma: A Social Theory. Cambridge : Polity Press, 2012. 226 p. ISBN 13:978-0-7456-4912-2.
- Alexander L.* The spaces between us: A spatial analysis of informal segregation at a South African university / L. Alexander, C. Tredoux // *Journal of Social Issues*. 2010. Vol. 66, № 2. P. 367–386. DOI 10.1111/j.1540-4560.2010.01650.x.
- Alexandre Lobanov et l'art brut en Russie / Préface de Bruno Decharme, textes de Jean-Louis Lanoux et Régis Gayraud. Paris : ABCD, 2003. 73 p.
- Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York : Verso, 2006. ISBN 978-1-84467-086-4.
- Andrighetto L.* Excluded from all humanity: Animal metaphors exacerbate the consequences of social exclusion / L. Andrighetto, P. Riva, A. Gabbiadini, C. Volpato // *Journal of Language and Social Psychology*. 2016. Vol. 35, № 6. P. 628–644. DOI 10.1177/0261927X16632267.
- Anstett E.* Art brut et obsession: Dantsig Baldaev et Alexandre Lobanov, dessinateurs. URL: <http://www.aleksander-lobanov>.

- com/IMG/pdf/Art_brut_et_obsession-_E-_ANSTETT.pdf (дата обращения: 10.05.2019).
- April K. A.* Diasporic double consciousness – Creolized identity of Colored professionals in South Africa / K. A. April, A. Josias // *Effective Executive*. 2017. Vol. 20, № 4. P. 31–61.
- Baldissarri C.* When work does not ennoble man: Psychological consequences of working objectification / C. Baldissarri, L. Andrighetto, C. Volpato // *TPM: Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*. 2014. Vol. 21, № 3. P. 327–339. DOI 10.4473/TPM21.3.7.
- Bandura A.* Disinhibition of aggression through diffusion of responsibility and dehumanization of victims / A. Bandura, B. Underwood, M. E. Fromson // *Journal of Research in Personality*. 1975. Vol. 9, № 4. P. 253–269. DOI 10.1016/0092-6566(75)90001-X.
- Barocas H. A.* Manifestations of Concentration Camp Effects on the Second Generation / H. A. Barocas, C. B. Barocas // *The American Journal of Psychiatry*. 1973. Vol. 130, № 7. P. 820–821. DOI 10.1176/ajp.130.7.820.
- Bastian B.* Excluded from humanity: The dehumanizing effects of social ostracism / B. Bastian, N. Haslam // *Journal of Experimental Social Psychology*. 2010. Vol. 46, № 1. P. 107–113. DOI 10.1016/j.jesp.2009.06.022.
- Bastian B.* Experiencing dehumanization: Cognitive and emotional effects of everyday dehumanization / B. Bastian, N. Haslam // *Basic and Applied Social Psychology*. 2011. Vol. 33, № 4. P. 295–303. DOI 10.1080/01973533.2011.614132.
- Bastian B.* Self-dehumanization / B. Bastian, Ch. Crimston // *TPM: Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*. 2014. Vol. 21, № 3. P. 241–250. DOI 10.4473/TPM21.3.1.
- Bazana S.* Social identities and racial integration in historically White universities: A literature review of the experiences of Black students / S. Bazana, O. P. Mogotsi // *Transformation in Higher Education*. 2017. Vol. 2, № 2. DOI 10.4102/the.v2i0.25.
- Bock Z.* ‘Why Can’t Race Just Be a Normal Thing?’ Entangled Discourses in the Narratives of Young South Africans // *Working Papers in Urban Language & Literacies*, 2015. P. 59–75.

- Bogumil Z.* Islands of One Archipelago: Narratives about the Solovet-skie Islands and the Memory of Soviet Repressions / Z. Bogumil, T. Voronina // *Laboratorium*. 2018. Vol. 10, № 2. P. 104–121. DOI 10.25285/2078-1938-2018-10-2-104-121.
- Bogumil Z.* Sacred or Secular? «Memorial», the Russian Orthodox Church, and the Contested Commemoration of Soviet Repressions / Z. Bogumil, D. Moran, E. Harrowell // *Europe-Asia Studies*. 2015. Vol. 67, № 9. P. 1416–1444. DOI 10.1080/0966 8136.2015.1085962.
- Boswell R.* Black faces, white spaces: Adjusting self to manage aver-sive racism in South Africa // *Africa Insight*. 2014. № 44 (3). P. 1–14.
- Boucher D.* Reclaiming history: Dehumanization and the failure of decolonization // *International Journal of Social Economics*. 2019. Vol. 46, № 11. P. 1250–1263. DOI 10.1108/IJSE-03-2019-0151.
- Bown M. C.* Socialist realist painting. New Heaven, London : Yale University Press, 1998. 506 p.
- Brosschot J. F.* The perseverative cognition hypothesis: A review of worry, prolonged stress-related physiological activation, and health / J. F. Brosschot, W. Gerin, J. F. Thayer // *Journal of Psychosomatic Research*. 2006. Vol. 60, № 2. P. 113–124. DOI 10.1016/j.jpsychores.2005.06.074.
- Brown K.* Coloured and black relations in South Africa: The burden of racialized hierarchy // *Macalester International*. 2000. Vol. 9, № 1. P. 13.
- Buzan B.* Security: A New Framework for Analysis / B. Buzan, O. Waever, de J. Wilde. London : Lynne Rienner, 1998. 240 p. ISBN 978-1-62637-206-1.
- Caesens G.* Perceived organizational support and employees' well-be-ing: The mediating role of organizational dehumanization / G. Caesens, F. Stinglhamber, S. Demoulin, M. De Wilde // *European Journal of Work and Organizational Psychology*. 2017. Vol. 26, № 4. P. 527–540. DOI 10.1080/1359432X.2017.1319817.
- Caruth C.* Unclaimed Experience: Trauma and the Possibility of History / C. Caruth, Y. French // *Yale French Studies*. 1991. № 79. P. 181–192. DOI 10.2307/2930251.

- Chatterjee A.* Measuring wealth inequality in South Africa: An agenda // *Development Southern Africa*. 2019. Vol. 36, № 6. P. 839–859. DOI 10.1080/0376835X.2019.1690977.
- Chevallereau T.* My physical appearance at the center of others' concerns: What are the consequences for women's netadehumanization and emotions? / T. Chevallereau, F. Stinglhamber, P. Maurage, S. Demoulin // *Psychologica Belgica*. 2021. Vol. 61, № 1. P. 116–130. DOI 10.5334/pb.558.
- Chevallereau T.* Sex-based and beauty-based objectification: Meta-dehumanization and emotional consequences among victims / T. Chevallereau, P. Maurage, F. Stinglhamber, S. Demoulin // *British Journal of Social Psychology*. 2021. Vol. 60, № 12. P. 1218–1240. DOI 10.1111/bjso.12446.
- China Can Say No / S. Qiang, Z. Zhang, B. Quio (eds.). Beijing : Zhonghua Gongshang Lianhe Chuban She, 1996.
- Chiwarawara K.* The role of social networks in service delivery protests in a South African township: The case of Gugulethu / K. Chiwarawara, T. Masiya // *Journal of Public Administration and Development Alternatives*. 2018. Vol. 3, № 1. P. 55–69.
- Christoff K.* Dehumanization in organizational settings: some scientific and ethical considerations // *Frontiers in Human Neuroscience*. 2014. Vol. 8. St. 748. DOI 10.3389/fnhum.2014.00748.
- Clark J. C. D.* National Identity, State Formation and Patriotism: The Role of History in the Public Mind // *History Workshop*. 1990. Vol. 29, № 1. P. 95–102. DOI 10.1093/HWJ/29.1.95.
- Cognitive, emotional, and motivational consequences of dehumanization / H. Zhang, D. K.-S. Chan, S. Xia, Y. Tian, J. Zhu // *Social Cognition*. 2017. Vol. 35, № 1. P. 18–39. DOI 10.1521/soco.2017.35.1.18.
- Coleman P. G.* Identity Loss and Recovery in the Life Stories of Soviet World War II Veterans / P. G. Coleman, A. Podolskij // *The Gerontologist*. 2007. Vol. 47, № 1. P. 52–60. DOI 10.1093/geront/47.1.52.
- Coovadia H.* The health and health system of South Africa: Historical roots of current public health challenges / H. Coovadia, R. Jewkes, P. Barron, D. Sanders, D. McIntyre // *The Lancet*.

2009. Vol. 374, № 9692. P. 817–834. DOI 10.1016/S0140-6736(09)60951-X.
- Darkey D.* The more things change the more they remain the same: A study on the quality of life in an informal township in Tshwane / D. Darkey, J. Visagie // *Habitat International*. 2013. № 39. P. 302–309.
- De Gloma T.* Expanding trauma through space and time: Mapping the rhetorical strategies of trauma carrier groups // *Social Psychology Quarterly*. 2009. № 72. P. 105–122.
- De Groot J.* Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. London and New York : Routledge, 2009. ISBN 9781315640754. DOI 10.4324/9781315640754.
- Dehumanization: A new perspective / N. Haslam, S. Loughnan, C. Reynolds, S. Wilson // *Social and Personality Psychology Compass*. 2007. Vol. 1, № 1. P. 409–422. DOI 10.1111/j.1751-9004.2007.00030.x.
- Do victimization experiences accentuate reactions to ostracism? An experiment using Cyberball / S. Ruggieri, M. Bendixen, U. Gabriel, F. Alsaker // *European Journal of Developmental Science*. 2013. Vol. 7, № 1. P. 25–32. DOI 10.3233/DEV-1312114.
- Dobrenko E.* Introduction. Between History and the Past: The Soviet Legacy as a Traumatic Object of Contemporary Russian Culture / E. Dobrenko, A. Shcherbenok // *Slavonica*. 2011. Vol. 17, № 2. P. 77–84. DOI 10.1179/136174211X13122749974122.
- Domange Y.* Les croix-épées dites russes des monuments aux morts des communes du canton de Reignier. URL: <https://www:la-salvienne.org> (дата обращения: 05.12.2017).
- Duprat-Kushtanina V.* Remembering the repression of the Stalin era in Russia: on the non-transmission of family memory // *Nationalities Papers*. 2013. Vol. 41, № 2. P. 225–239. DOI 10.1080/00905992.2012.752804.
- Durrheim K.* Socio-spatial practice and racial representations in a changing South Africa // *South African Journal of Psychology*. 2005. Vol. 35, № 3. P. 444–459. DOI 10.1177/008124630503500304.
- Examining the role of fundamental psychological needs in the development of metadehumanization: A multi-population approach /

- S. Demoulin, N. Nguyen, T. Chevallereau, S. Fontesse, J. Bastart, F. Stinglhamber, P. Maurage // *British Journal of Social Psychology*. 2021. Vol. 60, № 1. P. 196–221. DOI 10.1111/bjso.12380.
- Eyerman R.* Cultural Trauma: Slavery and the formation of African American identity. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 314 p.
- Eyerman R.* Narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering / R. Eyerman, J. Alexander, E. Breese. Boulder, Colo : Routledge, 2011. 336 p.
- Felsen I.* Transgenerational Transmission of Effects of the Holocaust: The North American Research Perspective // *International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma* / Edited by Yael Danieli. New York, London : Plenum Press, 1998. P. 43–68.
- Fontesse S.* Dehumanization of psychiatric patients: Experimental and clinical implications in severe alcohol-use disorders / S. Fontesse, S. Demoulin, F. Stinglhamber, P. Maurage // *Addictive Behaviors*. 2019. Vol. 89. P. 216–223. DOI 10.1016/j.addbeh.2018.08.041.
- Fourie M. M.* Hierarchies of being human: Intergroup dehumanization and its implication in post-apartheid South Africa / M. M. Fourie, M. Deist, S. L. Moore-Berg // Manuscript submitted for publication. 2021. Vol. 28, № 3. DOI 10.1037/pac0000616.
- Francis D.* Poverty and inequality in South Africa: Critical reflections / D. Francis, E. Webster // *Development Southern Africa*. 2019. Vol. 36, № 6. P. 788–802. DOI 10.1080/0376835X.2019.1666703.
- Generations of the Holocaust* / Ed. by M. S. Bergmann, M. E. Jucovy. New York : Columbia University Press, 1982. 338 p. ISBN 0-465-02666-4.
- Gheith J.* «I never talked»: enforced silence, non-narrative memory, and the Gulag // *Journal of Mortality*. 2007. Vol. 12, № 2. P. 159–175. DOI 10.1080/13576270701255149.
- Gheith J.* Gulag Voices: Oral Histories of Soviet Incarceration and Exile / J. Gheith, K. Jolluck. London : Palgrave Macmillan, 2011. 256 p.

- Habermas T.* Die Entwicklung autobiographischen Erinnerns im Erwachsenenalter // Entwicklung im Erwachsenenalter. Enzyklopädie Psychologie, Serie V, Band 6 / Ed. : F. Heidrun, U. Staudinger. Germany : Hogrefe, 2005. P. 683–713.
- Hall R. E.* The globalization of light skin colorism: From critical race to critical skin theory // American Behavioral Scientist. 2018. Vol. 62, № 14. P. 2133–2145. DOI 10.1177/0002764218810755.
- Haslam N.* Dehumanization: An integrative review // Personality and Social Psychology Review. 2006. Vol. 10, № 3. P. 252–264. DOI 10.1207/s15327957pspr1003_4.
- Haslam N.* Recent research on dehumanization / N. Haslam, M. Stratemeyer // Current Opinion in Psychology. 2016. № 11. P. 25–29. DOI 10.1016/j.copsyc.2016.03.009.
- Hass A.* In the Shadow of the Holocaust: The Second Generation. Cambridge and New York : Cambridge University Press, 1996. 178 p.
- Hinds L. S.* The gross violations of human rights of the apartheid regime under international law // Rutgers Race & Law Review. 1998. № 1. P. 231–317.
- Hirsch H.* Genocide and the Politics of Memory: Studying Death to Preserve Life. Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1995. 240 p.
- Hobsbawm E.* Mass-Producing Traditions: Europe, 1870–1914 // The Invention of Tradition / E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). Cambridge : Cambridge University Press, 2000. P. 263–309.
- How might eating disorders stigmatization worsen eating disorders symptom severity? Evaluation of a stigma internalization model / S. Griffiths, D. Mitchison, S. B. Murray, J. M. Mond, B. B. Bastian // International Journal of Eating Disorders. 2018. Vol. 51, № 8. P. 1010–1014.
- Humiliation, degradation, dehumanization: Human dignity violated / Edited by: P. Kaufmann, H. Kuch, C. Neuhaeuser, E. Webster. London : Springer Science & Business Media, 2010. 266 p. ISBN 978-90-481-9660-9. DOI 10.1007/978-90-481-9661-6.
- Hunt N.* Memory and Meaning: Individual and Social Aspects of Memory Narratives / N. Hunt, S. McHale // Jour-

- nal of Loss and Trauma. 2007. Vol. 13, № 1. P. 42–58. DOI 10.1080/15325020701296851.
- Identity, inequality and social contestation in the post-apartheid South Africa / H. Hino, M. Leibbrandt, R. Machema, M. Shifa, C. Soudien // From Divided Pasts to Cohesive Futures (SALDRU Working Paper № 233). Cape Town : SALDRU, UCT, 2018. P. 123–160. DOI 10.1017/9781108645195.005.
- Infra-humanization: The wall of group differences / J. P. Leyens, S. Demoulin, J. Vaes, R. Gaunt, M. P. Paladino // Social Issues and Policy Review. 2007. Vol. 1, № 1. P. 139–172. DOI 10.1111/j.1751-2409.2007.00006.x.
- Internalizing objectification: Objectified individuals see themselves as less warm, competent, moral, and human / S. Loughnan, C. Baldissarri, F. Spaccatini, L. Elder // British Journal of Social Psychology. 2017. Vol. 56, № 2. P. 217–232. DOI 10.1111/bjso.12188.
- Interracial contact among university and school youth in post-apartheid South Africa / C. Tredoux, J. Dixon, K. Durrheim, B. Zuma // The Wiley Handbook of Group Processes in Children and Adolescents / A. Rutland, D. Nesdale, & C. S. Brown (Eds.), Oxford : John Wiley & Sons Ltd., 2017. P. 393–415. DOI 10.1002/9781118773123.ch19.
- Janody P.* À propos de l'œuvre d'Aleksander Pavlovitch Lobanov, de sa production et de son devenir // Essaim. 2009. № 23. P. 23–36. DOI 10.3917/ru.023.0023. URL: <https://www.cairn.info/revue-essaim-2009-2-page-23.htm> (дата обращения: 13.05.2019).
- Kamanga E.* Lived experiences of hidden racism of students of colour at an historically white university. (Master of Arts) // Stellenbosch University : [сайт]. 2019. URL: <https://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/106152> (дата обращения: 05.09.2019).
- Kelly C.* «The Leningrad Affair»: Remembering the «Communist Alternative» in the Second Capital // Slavonica. 2011. Vol. 17, № 2. P. 103–122. DOI 10.1179/136174211X13122749974203.
- Koen J.* A naturalistic observational study of informal segregation: Seating patterns in lectures / J. Koen, K. Durrheim //

- Environment and Behavior. 2010. Vol. 42, № 4. P. 448–468. DOI 10.1177/0013916509336981.
- Kon Z. R.* Ethnic disparities in access to care in post-apartheid South Africa / Z. R. Kon, N. Lackan // American Journal of Public Health. 2008. Vol. 98, № 12. P. 2272–2277. DOI 10.2105/AJPH.2007.127829.
- Korostelina K.* History education and social identity // Identity: An International Journal of Theory and Research. 2008. Vol. 8, № 1. P. 25–45. DOI 10.1080/15283480701787327.
- Kteily N.* Backlash: The politics and real-world consequences of minority group dehumanization / N. Kteily, E. Bruneau // Personality and Social Psychology Bulletin. 2017. Vol. 43, № 1. P. 87–104. DOI 10.1177/0146167216675334.
- Kteily N.* They see us as less than human: Metadehumanization predicts intergroup conflict via reciprocal dehumanization / N. Kteily, G. Hodson, E. Bruneau // Journal of Personality and Social Psychology. 2016. Vol. 110, № 3. P. 343–370. DOI 10.1037/pspa0000044.
- Lacapa D.* Trauma, Absence, Loss // Critical Inquiry. 1999. Vol. 25, № 4. P. 696–727. DOI 10.1086/448943.
- Lacking socio-economic status reduces subjective well-being through perceptions of meta-dehumanization / M. Sainz, R. Martínez, M. Moya, R. Rodríguez-Bailón, J. Vaes // British Journal of Social Psychology. 2021. Vol. 60, № 2. P. 470–489. DOI 10.1111/bjso.12412.
- Landry A. P.* Hated but still human: Metadehumanization leads to greater hostility than metaprejudice / A. P. Landry, E. Ihm, J. W. Schooler // Group Processes & Intergroup Relations. 2021. Vol. 25, № 2. DOI 10.1177/1368430220979035.
- Laruelle M.* Negotiating History: Memory Wars in the Near Abroad and Pro-Kremlin Youth Movements // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization. 2011. Vol. 19, № 3. P. 233–252.
- Lephakga T.* The history of theologised politics of South Africa, the 1913 Land Act and its impact on the flight from the black self // Studia Historiae Ecclesasticae. 2013. Vol. 39, № 2. P. 379–400.

- Livak L.* L'émigration russe et les élites culturelles françaises 1920–1925. Les débuts d'une collaboration. Émigrations au début du XX-e siècle // *Monde russe*. 2007. Vol. 48, № 1. P. 23–43. DOI 10.4000/monderusse.4922.
- Lommel M.* L'aracine et l'art brut. Neuilly-sur-marne : L'aracine, 2004. 282 p. ISBN 2907317008.
- Lost in Transmission: Studies of Trauma Across Generations / Ed. M. G. Fromm. London : Karnac, 2012. ISBN 1855758644.
- Mälksoo M.* Memory Must be Defended: Beyond the Politics of Mnemonical Security // *Security Dialogue*. 2015. Vol. 46, № 3. P. 221–237. DOI 10.1177/0967010614552549.
- Marcellesi D.* Soins des malades et des blessés à La Seyne: institution de la Sainte-Marie et l'hôpital russe // *Regards sur l'histoire. Traces et mémoire de la Grande Guerre sur le front occidental et le front d'Orient*. Var. 2015. № 15. P. 18–24.
- Markert F.* The Chinese Cultural Revolution: a traumatic experience and its intergenerational transmission // *Landscapes of the Chinese Soul: The Enduring Presence of the Cultural Revolution* / Edited by Tomas Plaenkers. London : Routledge, 2019. P. 143–164.
- Mbambo S. B.* The Impact of the COVID-19 pandemic in townships and lessons for urban spatial restructuring in South Africa / S. B. Mbambo, S. B. Agbola // *African Journal of Governance and Development*. 2020. Vol. 9, № 1.1. P. 329–351.
- Mekawi Y.* Examining racial discrimination's association with depressive symptoms through metadepersonalization among African Americans: Does racial identity matter? / Y. Mekawi, N. N. Watson-Singleton // *Journal of Black Psychology*. 2021. Vol. 47, № 2–3. P. 91–117.
- Mental health inequalities in adolescents growing up in post-apartheid South Africa: Cross-sectional survey, SHaW study / J. Das-Munshi, C. Lund, C. Mathews, C. Clark, C. Rothon, S. Stansfeld // *PLoS ONE*. 2016. Vol. 11, № 5. e0154478. DOI 10.1371/journal.pone.0154478.
- Merridale C.* Soviet Memories: Patriotism and Trauma // *Memory: Histories, Theories, Debates* / Eds. S. Radstone and B. Schwarz. New York : Fordham University Press, 2010. P. 376–389.

- Metadehumanization and self-dehumanization are linked to reduced drinking refusal self-efficacy and increased anxiety and depression symptoms in patients with severe alcohol use disorder / S. Fontesse, S. Demoulin, F. Stinglhamber, P. de Timary, P. Maurage // *Psychologica Belgica*. 2021. Vol. 61, № 1. P. 238–247. DOI 10.5334/pb.1058.
- Metadehumanization in severe alcohol-use disorders: Links with fundamental needs and clinical outcomes / S. Fontesse, F. Stinglhamber, S. Demoulin et al. // *Addictive Behaviors*. 2020. Vol. 107, St. 106425. DOI 10.1016/j.addbeh.2020.106425.
- Mitter R.* Forgotten Ally: China's World War II, 1937–1945. Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 2013. 464 p. ISBN 061889425X.
- Ndimande B. S.* Pedagogy of poverty: School choice and inequalities in post-apartheid South Africa // *Global Education Review*. 2016. Vol. 3, № 2. P. 33–49.
- Oliver S.* Dehumanization: Perceiving the body as (in) human // *Humiliation, Degradation, Dehumanization* / P. Kaufmann, H. Kuch, C. Neuhäuser, E. Webster (eds.). Dordrecht : Springer, 2011. P. 85–97.
- Onwuzurike C. A.* Black people and apartheid conflict // *Journal of Black Studies*. 1987. Vol. 18, № 2. P. 215–229. DOI 10.1177/002193478701800206.
- Outliers and American Vanguard Art* / Lynne Cooke (eds.). Chicago : University of Chicago Press, 2018. 448 p.
- Pellyard J.-F.* Extraits militaires russes des Archives de l'hôpital de Saint-Mandrier. Tapuscrit. Toulon, 2005. 30 p.
- Pisch A.* The personality cult of Stalin in Soviet posters, 1929–1953: Archetypes, inventions and fabrications. Acton : Australian National University Press, 2016. 538 p.
- Preisendörfer P.* In search of black entrepreneurship: Why is there a lack of entrepreneurial activity among the black population in South Africa? / P. Preisendörfer, A. Bitz, F. J. Bezuidenhout // *Journal of Developmental Entrepreneurship*. 2012. Vol. 17, № 1. DOI 10.1142/S1084946712500069.
- Racial microaggressions in everyday life: Implications for clinical practice / D. W. Sue, C. M. Capodilupo, G. C. Torino et

- al. // *American Psychologist*. 2007. Vol. 62, № 4. P. 271–286. DOI 10.1037/0003-066X.62.4.271.
- Reilly J.* Remember History, Not Hatred: Collective Remembrance of China's War of Resistance to Japan // *Modern Asian Studies*. 2011. Vol. 45, № 2. P. 463–490. DOI 10.1017/S0026749X11000151.
- Rose G.* *Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials*. New York : SAGE, 2007. 287 p. ISBN 1-4129-2190-9.
- Rouhier-Willoughby J.* The GULAG reclaimed as sacred space: the negotiation of memory at the Holy spring of Iskitim // *Laboratorium*. 2015. Vol. 7, № 1. P. 51–70.
- Sarkisova O.* «They came, shot everyone, and that's the end of it»: Local Memory, Amateur Photography, and the Legacy of State Violence in Novocherkassk / O. Sarkisova, O. Shevchenko // *Slavonica*. 2011. Vol. 17, № 2. P. 85–102.
- Schell O.* China's cover-up. When Communists Rewrite History // *Foreign Affairs*. 2018. Vol. 97, № 1. P. 23–24.
- Schneider F.* Mediated Massacre: Digital Nationalism and History Discourse on China's Web // *The Journal of Asian Studies*. 2018. Vol. 77, № 2. P. 429–452. DOI 10.1017/S0021911817001346.
- Schwab G.* *Haunting Legacies: Violent Histories and Transgenerational Trauma*. New York : Columbia University Press, 2010. 256 p. ISBN 978-0-231-52635-7.
- Seekings J.* The continuing salience of race: Discrimination and diversity in South Africa // *Journal of Contemporary African Studies*. 2008. Vol. 26, № 1. P. 1–25. DOI 10.1080/02589000701782612.
- Seidman G.* Armed struggle in the South African anti-apartheid movement // *The Social Movements Reader: Cases and concepts* / J. Goodwin & J. M. Jasper (eds.). West Sussex, UK : John Wiley & Sons, Ltd, 2009. P. 224–238. ISBN 978-1-118-72979-3.
- Self-dehumanisation in severe alcohol use disorder: Links with self-stigma and environmental satisfaction / S. Fontesse, F. Stinglhamber, S. Demoulin, P. De Timary, P. Maurage // *International Journal of Psychology*. 2021. Vol. 51, № 1. DOI 10.1002/ijop.12774.

- Sigal J. J.* Trauma and Rebirth: Intergenerational Effects of the Holocaust / J. J. Sigal, M. Weinfeld. New York : Praeger, 1989. 204 p.
- Smith A. D.* Myths and Memories of the Nation. Oxford : Oxford University Press. 1999. 288 p.
- Smith D. L.* Less than human: Why we demean, enslave, and exterminate others. L. : St. Martin's Press, 2011. 336 p.
- Smith L.* Access to water for the urban poor in Cape Town: Where equity meets cost recovery / L. Smith, S. Hanson // *Urban Studies*. 2003. Vol. 40, № 8. P. 1517–1548. DOI 10.1080/0042098032000094414.
- Social exclusion in everyday life / E. D. Wesselmann, M. R. Grzybowski, D. M. Steakley-Freeman et al. // *Social Exclusion* / P. Riva & J. Eck (eds.). Switzerland : Springer International Publishing, 2016. P. 3–23. DOI 10.1007/978-3-319-33033-4_1.
- Soudien C.* The reconstitution of privilege: Integration in former White schools in South Africa // *Journal of Social Issues*. 2010. Vol. 66, № 2. P. 352–366. DOI 10.1111/j.1540-4560.2010.01649.x.
- Sturken M.* Memory, Consumerism and Media: Reflections on the Emergence of the Field // *Memory Studies*. 2008. Vol. 1, № 1. P. 73–78. DOI 10.1177/1750698007083890.
- Suisheng Zhao.* China's difficult relations with Japan: Pragmatism, Superficial Friendship, and Historical Memories // *Asian Journal of Comparative Politics*. 2016. Vol. 1, № 4. P. 1–19. DOI 10.1177/2057891116672605.
- Sztompka P.* The Trauma of Social Change: A Case of Postcommunist Societies // *Cultural Trauma and Collective Identity* / Jeffrey C. Alexander, Ron Eyerman, Bernard Giesen, Neil J. Smelser, Piotr Sztompka. Berkeley : University of California Press, 2004. P. 155–195. DOI 10.1525/california/9780520235946.003.0005.
- Tajfel H.* Differentiations between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations. London : Academic Press, 1978. 474 p.
- Taskin L.* The dark side of office designs: Towards dehumanization / L. Taskin, M. Parmentier, F. Stinglhamber // *New Tech-*

- nology, *Work and Employment*. 2019. Vol. 34, № 3. P. 262–284. DOI 10.1111/ntwe.12150.
- The ascent of man: Theoretical and empirical evidence for blatant dehumanization / N. Kteily, E. Bruneau, A. Waytz, S. Cotterill // *Journal of Personality and Social Psychology*. 2015. Vol. 109, № 5. P. 901–931.
- The impact of power on humanity: Self-dehumanization in powerlessness / W. Yang, S. Jin, S. He, Q. Fan, Y. Zhu // *PLoS ONE*. 2015. Vol. 10. № 5. e0125721. DOI 10.1371/journal.pone.0125721.
- Thobejane T.* History of apartheid education and the problems of reconstruction in South Africa // *Sociology Study*. 2013. Vol. 3, № 1. P. 1–12.
- Tredoux C.* Mapping the multiple contexts of racial isolation: The case of Long Street, Cape Town / C. Tredoux, J. Dixon // *Urban Studies*. 2009. Vol. 46, № 4. P. 761–777. DOI 10.1177/0042098009102128.
- Tuck E.* R-words: Refusing research / E. Tuck, K. W. Yang // *Humanizing research: Decolonizing qualitative inquiry with youth and communities*. 2014. Vol. 223, P. 223–248.
- Tuck E.* Suspending damage: A letter to communities // *Harvard Educational Review*. 2009. Vol. 79, № 3. P. 409–428. DOI 10.17763/haer.79.3.n0016675661t3n15.
- TV Drama in China / Y. Zhu, M. Keane and R. Bai (eds). Hong Kong : Hong Kong University Press, 2008. 288 p. ISBN 978-962-209-940-1.
- Twenge J. M.* Social exclusion and the deconstructed state: Time perception, meaninglessness, lethargy, lack of emotion, and self-awareness / J. M. Twenge, K. R. Catanese, R. F. Baumeister // *Journal of Personality and Social Psychology*. 2003. Vol. 85, № 3. P. 409–423. DOI 10.1037/0022-3514.85.3.409.
- Understanding the seating patterns in a residence-dining hall: A longitudinal study of intergroup contact / L. E. Schrieff, C. G. Tredoux, G. Finchilescu, J. A Dixon // *South African Journal of Psychology*. 2010. Vol. 40, № 1. P. 5–17. DOI 10.1177/008124631004000102.

- Victims and perpetrators, 1933–1945: (re)presenting the past in post-unification culture / Edited by: L. Cohen-Pfister, D. Wienroeder-Skinner. Berlin : Walter de Gruyter, cop., 2006. 371 p. ISBN 3110189828.
- Vincent L.* The limitations of ‘inter-racial contact’: Stories from young South Africa // *Ethnic and Racial Studies*. 2008. Vol. 31, № 8. P. 1426–1451. DOI 10.1080/01419870701711839.
- Volkan V.* Bloodlines: From Ethnic Pride to Ethnic Terrorism. New York : Farrar Straus Giroux. 1997. 280 p.
- Volkan V.* Killing in the Name of Identity: A Study of Bloody Conflicts. Charlottesville, VA : Pitchstone Publishing, 2006. 307 p. ISBN 0972887571.
- Volkan V.* Transgenerational Transmissions and Chosen Traumas: An Aspect of Large-Group Identity // *Group Analysis*. 2001. Vol. 34, № 1. P. 79–97. DOI 10.1177/05333160122077730.
- Wakamiya L. R.* Post-Soviet Contexts and Trauma Studies // *Slavonica*. 2011. Vol. 17, № 2. P. 134–144. DOI 10.1179/136174211X13122749974285.
- Wale K.* Introduction: Post-conflict hauntings / K. Wale, P. Gobodo-Madikizela, J. Prager // *Post-Conflict Hauntings: Transforming Memories of Historical Trauma* / Ed. by K. Wale, J. Prager, P. Gobodo-Madikizela. Belfast : Palgrave Macmillan, 2020. P. 1–25. DOI 10.1007/978-3-030-39077-8_1.
- Wang G.* The Fourth Rise of China: Cultural implications // *China: An International Journal*. 2004. Vol. 2, № 2. P. 311–322. DOI 10.1353/chn.2004.0016.
- Wang Yi.* State, Market, and the Manufacturing of War Memory: China’s Television Dramas on the War of Resistance against Japan / Yi Wang , M. Chew // *Memory Studies*. 2021. Vol. 14, № 4. P. 883–884. DOI 10.1177/17506980211024319.
- Weingarten K.* Witnessing the Effects of Political Violence in Families: Mechanisms of Intergenerational Transmission // *Journal of Marital and Family Therapy*. 2004. Vol. 30, № 1. P. 45–59. DOI 10.1111/j.1752-0606.2004.tb01221.x.
- Wertsch J. V.* *Voices of the Mind: Sociocultural Approach to Mediated Action* (Reprinted.). Harvard University Press 1993. 169 p.

- When less equal is less human: Intragroup (dis) respect and the experience of being human / D. Renger, A. Mommert, S. Renger, B. Simon // *The Journal of Social Psychology*. 2016. Vol. 156, № 5. P. 553–563. DOI 10.1080/00224545.2015.1135865.
- Wilson F.* Historical roots of inequality in South Africa // *Economic History of Developing Regions*. 2011. Vol. 26, № 1. P. 1–15. DOI 10.1080/20780389.2011.583026.
- Xiangshan Z.* Recollection of Sino-Japanese Normalization Negotiation // *Japan Studies*. 1998. № 1. URL: <http://www.china.com.cn/chinese/НIAW/143113.htm> (дата обращения: 17.05.2022).
- Zheng W.* Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations. New York : Columbia University Press, 2014. 312 p. ISBN 978-0231148917.
- Zunes S.* The role of non-violent action in the downfall of apartheid // *The Journal of Modern African Studies*. 1999. Vol. 37, № 1. P. 137–169.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Михайленок Олег Михайлович – доктор полит. наук, профессор, руководитель Отдела исследования социально-политических отношений, Институт социологии ФНИСЦ РАН.

Митрофанова Анастасия Владимировна – доктор полит. наук, ведущий научный сотрудник Отдела исследования социально-политических отношений, Институт социологии ФНИСЦ РАН; профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Богатова Ольга Анатольевна – доктор социол. наук, профессор кафедры социологии и социальной работы, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва.

Рвачева Ольга Владимировна – кандидат ист. наук, доцент кафедры государственного управления и менеджмента, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС.

Рязанова Светлана Владимировна – доктор филос. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН.

Кочуков Джордж – независимый исследователь, ЮАР.

Суворова Анна Александровна – доктор филос. наук, доцент, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.

Богомоллов Алексей Иванович – кандидат ист. наук, научный сотрудник, Санкт-Петербургский институт истории РАН.

Рудковская Маргарита Михайловна – кандидат ист. наук, доцент кафедры политической экономики и истории экономических учений, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова.

Артемова Софья Владимировна – аспирант кафедры истории России новейшего времени, Российский государственный гуманитарный университет.

Дейст Мелани – аспирант, Стелленбошский университет, ЮАР.

Фуаре Мелике – научный сотрудник, Стелленбошский университет, ЮАР.

Пономарева Анастасия Михайловна – кандидат социол. наук, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики, МГУ имени М. В. Ломоносова; руководитель Отдела проблем европейской безопасности, Институт научной информации по общественным наукам РАН.

Пономарев Сергей Владимирович – кандидат полит. наук, доцент Инженерной академии, Российский университет дружбы народов.

Научное издание

*Михайленок Олег Михайлович, Митрофанова Анастасия Владимировна,
Богатова Ольга Анатольевна, Рвачева Ольга Владимировна,
Рязанова Светлана Владимировна, Кочуков Джордж,
Суворова Анна Александровна, Богомолов Алексей Иванович,
Рудковская Маргарита Михайловна, Артемова Софья Владимировна,
Дейст Мелани, Фуаре Мелике, Понамарева Анастасия Михайловна,
Понамарев Сергей Владимирович*

**ПРОШЛОЕ, КОТОРОЕ НЕ УХОДИТ:
КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
И ИДЕНТИЧНОСТЬ**

Научный редактор *А. В. Митрофанова*

Корректор *Е. Д. Полукеева*

Обложка художник *А. П. Лобанов*

ISBN 978-5-89697-410-9



Подписано к печати 06.03.2023
Формат 60×90/16. Бумага офсетная
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 13,5
Тираж 550 экз. Заказ 12

Издатель

Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук
117218, Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5
Тел.: +7(499) 125-00-79
E-mail: fnisc@fnisc.ru

Отпечатано в типографии
ООО «Фабрика Офсетной Печати»